

Олег Ермаков

ПО ДОРОГЕ В ВЕРЖАВСК

Роман цикла
«Лѣсъ трѣхъ рѣкъ»



Самое время!

Олег Ермаков

По дороге в Вержавск

«ВЕБКНИГА»

2022

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6

Ермаков О. Н.

По дороге в Вержавск / О. Н. Ермаков — «ВЕБКНИГА»,
2022 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-2361-8

Вержавск — древний город Смоленской земли, исчезнувший под натиском польско-литовских завоевателей в XVII веке. Другьям из большого села Каспля — Ане, Илье и Арсению — в названии города слышится, что это град великой державы не только прошлого, но и будущего. Их учитель, бывший красноармеец, задумывает экспедицию к этому городу... Однако Великая Отечественная война рушит все планы, герои романа поставлены в жесткие условия выбора между жизнью и смертью, предательством и служением своим идеалам, между родиной предков и властью Сталина. Действие разворачивается сначала в довоенном, а потом в оккупированном селе Каспля, в разрушенном Смоленске, в партизанских лесах. В романе выведены исторические персонажи: бургомистр Смоленска Меньшагин, художник Мушкетов, настоятель Успенского собора протоиерей Николай Шиловский. А легендарный Вержавск, как град Китеж, сокрыт, но не в толщах вод и времени, а в грозových заревах и облаках. И путь к нему долог, почти бесконечен, как та невиданная и бесчеловечная война.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6

ISBN 978-5-9691-2361-8

© Ермаков О. Н., 2022

© ВЕБКНИГА, 2022

Содержание

Первая часть	7
1	7
2	11
3	15
4	20
5	24
6	28
7	33
8	40
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Олег Николаевич Ермаков
По дороге в Вержавск
Роман цикла «ЛѢсъ трѣхъ рѣкъ»

Маме, сказочнице Марье из Горбунов и всей каспьянской родне посвящается

Мы перешагнули через все поражение. Мы похожи на паломников, которые легко переносят мучения в пустыне, потому что сердцем они уже в священном граде.

Экзюпери, военный летчик

Вкруг высоких стен зубчатых бой идет за родину.

Архилох

Ноябрь, 1914 год. По словам раненых немцев, настроение у солдат весьма подавленное. Офицеры все время говорят им о победах, но солдаты больше уже не верят этим рассказам.

К. Вагинов. Труды и дни Свистонова

И звезды над Каспией на волок идут посолонь.

Н. Егорова

* * *

© Олег Ермаков, 2022

© «Время», 2022

Первая часть

1

Арсений улыбался расслабленно, вновь слыша свою детскую кличку. После прыжков с куском дерюги с тополя в сено, замеченных проезжавшими мимо мужиками с ребятней, звали его Сенька Дерюжные Крылья, а как подрос, то и еще грубее и проще: Сенька Дерюга. Созвучно с прозвищем его известного в округе деда.

– Кстати, наш Беляев в детстве тоже прыгнул – с сарая за семинарией, – продолжал Илья. – Возле крепостной стены. Взял зонтик и взлетел.

– Взлетел? – спросила Аня.

Илья улыбнулся, облизнул толстые губы.

– Взлетел вниз, как говорится. И получил травму позвоночника. В результате слег на три года, и от него сразу ушла жenuшка.

– Почему? – спросила Аня.

Илья фукнул и сделал жест рукой:

– Вот такие уж вы коварные.

– Где он сейчас? – спросил Арсений, ополаскивая чистую, переливающуюся солнечными бликами кастрюлю.

Они только что отобедали под ивой у ручья в стороне от дороги. Обед получился так себе, хотя девушка с ореховыми глазами очень старалась. Но что за обед без соли? Она ее забыла. Не взял и Илья. А прибывший на побывку летчик Арсений на них понадеялся. Илья, коего Арсений иногда кликал Геродотом, помянул давние времена Алексея Михайловича, царя, – при нем случился известный соляной бунт на Москве, когда народ из-за подорожавшей соли погромил всякие строения, побил людей и совсем убил некоторых инициаторов этой меры выбивания денег. Арсений взялся мыть посуду на ручье, сославшись на свой курсантский опыт – горы мисок и ложек, котелков и котлов перемыты за годы учения. И он надраил сейчас песком все и ополоснул кастрюлю.

– Беляев?.. – Илья пожал толстыми покатыми плечами. – По-моему, в Питере... то бишь в Ленинграде.

– Ходит? – уточнила Аня.

Илья поднял вверх палец.

– Главное, пишет. Только что вышла новинка. – Он взглянул на Арсения. – «Ариэль». – Илья выдержал паузу. – Про летающего человека.

– Над чем он пролетал? – сострил Арсений.

– Над городами и горами Азии, может, и Персии как раз. Потрясающий роман. Правда, я еще не читал.

– На чем же он летал? – заинтересовался Арсений.

– Так, сам по себе.

– Как во сне? – сказала Аня.

– Наверное.

– Или на старом рваном черном зонтике? – переспросил с улыбкой Арсений.

– Нет, его там, в азиатских горах, в монастыре каком-то, обучили этой науке мудрецы.

– Кого, Беляева? – опешила Аня.

– Что?

– Ну... ой, с вами совсем голова кругом. – Она засмеялась. – Он же научный писатель? То есть фантаст, – стала она оправдываться. – А не то что там... всякие Жюль Верны.

Это был старый спор, но Илья не стал ввязываться, а заявил, что фантастика вообще-то сейчас чуждое явление.

– Это почему же? – спросил Арсений, круто повернувшись к нему.

– Очень просто, – ответил Илья: – *я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!* Это наше трезвомыслие. А бесплодные всякие мечтания – там «Город Солнца» и прочие утопии – удел капиталистических фантазеров. И тому же нашему землячку Беляеву пришлось одно время очень туго, бросили его печатать. И он уехал вообще за полярный круг.

– Зачем? – спросила Аня.

– Подальше от... нелюбителей фантастики. Он там предлагал свои идеи озеленения...

– Тундры? – уточнил Арсений.

– Мурманска. Потом вернулся.

– Откуда такие сведения? – спросил Арсений.

– От Желны.

– Дятла?

– Ха! Вроде того. Он похож. Борька Желна, актер, пасынок актеров Разумовских. Сам Разумовский с Беляевым в переписке. Беляев же тоже был, как говорится, не чужд актерской сцены... Я у него выпрошу книжку для тебя.

Арсений махнул рукой.

– Это похоже на ту историю с Лилиенталем... А у меня уже своя лётная книжка.

– Что ты в ней пишешь? Про нас? Про новый поход к Вержавску? – спрашивает Аня, поправляя сияющие в солнце черные волосы.

Арсений кивает и как бы читает вслух:

– *Двадцать первое шестого, сорок первого. Тринадцать двадцать.* – Он мельком взглянул на часы с выпуклой линзой. – То есть... уже...

– И сколько же там на твоих «кировских»? – подает голос Илья, зачесывая распадающиеся на два крыла русые волосы.

– Двадцать... двадцать девять минут, – отвечает Арсений. – Вот и все.

– И это все-о? – разочарованно переспрашивает Аня.

Арсений улыбнулся:

– Ну не пересказывать же наши разговоры.

– А что, и неплохо, – возражает девушка. – Про соль, про Беляева. Про французов и венцев, захваченных фашистами, про англичан, Черчилля с декоративным королем Георгом Шестым... да? Или Седьмым? – спрашивает она у Ильи.

– Ну и ну, – бормочет Арсений, – раньше мы тебя слушали, открыв рты.

– Да куда мне до вас, горожан! – беспечно восклицает девушка, отгоняя веточкой надоедливых комаров и оводов. – Была селянкой и ею осталась.

– Хм, а кто нас только что просвещал насчет венцев, то есть ихнего короля Штрауса, получившего орден Льва и Солнца от персидского шаха? – напоминает с улыбкой Илья. – Признаться, Ань, сколь раз смотрела «Большой вальс»?

Аня потупила глаза.

– Сознавайся!

– Три! – выпалила она.

Илья и Арсений расхохотались.

– А вы сами?

– Трам-трам-трам-па-па! – запел Арсений.

Илья засвистел, выводя ту же мелодию «Сказок Венского леса» Штрауса.

– Не хотите признаться?! – восклицает Аня, горячо сияя глазами.

Арсений берет ее за руки и пытается вести в танце. Илья еще пуше насвистывает и прихлопывает в ладоши. Аня поначалу бестолково топчется в каких-то сбитых башмачках, трико, мужской рубашке, туго перетянутой в поясе ремешком, но вот уже начинает совпадать в движениях ведущего. Эти трико она надела вместо черной юбки, как только они немного отъехали от Каспли. Матушка ее все так же была сурова в вопросах одежды для женщин.

– А ты хорошая ведомая! – одобряет Арсений.

Арсений бос, сатиновые черные широченные штаны подвернуты, старая рубашка расстегнута. На голове кепка.

– Ладно! – кричит Илья, встряхивая русыми волосами. – Оркестр устал.

Арсений останавливается и наклоном головы благодарит Аню.

– Ты все так же прячешь свои пластинки у Тamarки Морозович? – спрашивает Арсений у Ани, доставая коробку, вынимая папиросу.

Он протягивает коробку Илье. Тот отрицательно качает головой, но, взглянув на картинку на коробке, оживает:

– Васнецов? «Три богатыря»?

Передумывает и тоже берет папиросу. Они прикуривают от тлеющего сучка. Аня смотрит на молодых мужчин, все помахивая своей березовой веточкой.

– Вот еще! – восклицает Аня с независимым видом. – Что я, школярка, что ли?

– Ну... – Арсений растягивает черные узкие усики в улыбке. – Мама Пелагия – цитадель старого уклада.

Аня нетерпеливо крутит головой.

– Никакая не ци-та-дель. Штраус ей уже нравится.

– Бьюсь об заклад – после «Большого вальса»! – откликается Арсений. – Неужели смотрела?

Аня смерила его взглядом светящихся ореховых глаз. Ее волосы тоже светились. И на лбу играли блики – но как будто уже и не солнечного, а какого-то другого, особого, девичьего света.

– Интересно, где же? – как маленького спросила она.

– Ну... в клубе, – растерялся Арсений.

Илья усмехнулся:

– Эх ты, Сенька Дерюжные Крылья. Запомнил, где киноустановка?

Арсений наморщил смуглый лоб.

– Ну... – И тут он вспомнил и ударил себя ладонью по лбу: – В Казанской?! – Затянулся папиросным дымом и сам себе ответил: – Ну да, как же матушка Пелагия туда пойдет.

– Догадливый товарищ лейтенант, – ехидно заметила Аня, – автор лётной книжки. Кстати, дарю название. Хочешь?

– Да название всегда стандартное: Лётная книжка такого-то, – отозвался Арсений. – В лётной книжке только дату, пункт назначения, расстояние и указываешь.

– Ску-уч-но, – протянула девушка.

– Зато понятно. Начальству. Это персональный отчетный документ. Да и самому полезен... Для самоанализа. Сколько налетал, какие кренделя выписывал в воздухе.

– А могли бы вести судовой журнал, – замечает плотный невысокий Илья, зашибая на голых плечах комаров. Его майка запачкана кровью. Круглые линзы очков в металлической оправе поблескивают на толстом носу. – Если бы ты вовремя сообщил об отпуске. У моих друзей-археологов есть байдарка. Но я их просто уже не застал...

– Можно было и на простой плоскодонке плыть, – отвечает Арсений.

– На лодке идти долго, она тяжелая, неповоротливая, – отвечает Илья, хмуря светлые брови. – А байдарка – пушинка! – Его синие глаза загораются под стеклами очков. – Пирога Гайаваты. Он же там просил, мол, дай коры, мне, о береза, и все такое. Мы с ребятами ходили на байдарке по Днепру, вверх, до Дорогобужа. Есть такая идея подняться до самых истоков

Днепра. Оттуда перевалить на Волгу. Вверх по ней. А там вниз по Двине – до впадения в нее нашей Каспли и уже вверх по Каспле до села, озера – и в Смоленск.

– Ого. Зачем?

– Ну так и охватить весь древний этот лес.

– Адмирал его упоминал, – сказал Арсений, усиленно вспоминая, и вспомнил: – Оковский?!

Илья усмехнулся:

– Вообще первым о нем писал Нестор в «Повести временных лет», мол, есть такой лес на Руси, из коего вытекают реки: Днепр – на юг, Двина – к северу, Волга на восток.

– Двина на север? – быстро переспросил Арсений. – Какая Двина? Наша или Северная?

– Наша, наша, смоленская, – ответил Илья. – Просто насчет севера летописец – того, дал маху, ошибся. На запад Двина бежит, вот... – Он посмотрел под ноги и добавил: – А сейчас вместо воды под нами дорога.

– Так что, по коням? – спрашивает Арсений, бросая окурочек в кострище и поворачиваясь к велосипедам у деревьев.

– А название для книжки? – напоминает девушка.

– Давай.

– На самолетике покатаешь?

– Слово пилота.

– «Пятый океан»!

Арсений белозубо смеется, стаскивает кепку и приглаживает смоляные волосы, качает головой.

– Эх, Анька, не видать тебе моего *шмачка*, не восседать на нем, так сказать.

Девушка удивленно смотрит на него.

– А слово?.. Пилота?

– Да пилоты стыренное не берут. Геродот, как по-научному? Ну стыренное название?

– Плагиат, – важно изрекает Илья.

– Вот-вот. Рабы не мы и не плагиаторы. А просто авиаторы. Не видели, что ли, «Пятый океан»?

– Кинокартину?.. – отозвался Илья. – Про летчиков?

– Ну разумеется. Про Леонтия Широкова, таежника, ставшего летчиком и героем Халхин-Гола.

– Видно, недавно вышла, – проговорил Илья.

– Кинокартина? – переспросила Аня. – «Пятый океан»? – И, взмахивая руками, воскликнула: – Да он над нами! А музыка – шестой!

И, насвистывая, она пошла к своему велосипеду.

– Ань, Штраус? – уточнил Арсений.

– А кто ж еще? «Персидский марш»!

– Это за него ему дали орден? Орден Льва и Солнца?

– Всссуиусс! Всссуисс! – выводила девушка странную мелодию.

2

Оседлав пыльные велосипеды, тройца двинулась дальше. Впрочем, Арсений свой велосипед очистил травой; военный человек, летчик, он не мог позволить себе восседать на такой грязной технике. А Илья с Аней над ним только посмеялись, мол, все равно сейчас же все запылится на этой *великой Вержавской дороге*, отправиться по которой они давно мечтали.

Мечта-то у них, правда, была немного другая.

Все началось с рассказа шкраба, то бишь школьного работника, учителя Евграфа Васильевича Изуметнова об исчезнувшем древнем городе Вержавске.

В давние времена в Смоленском княжестве это был второй град после Смоленска – Вержавск. И земли вокруг него именовались Вержавляне Великие. Самую большую подать платили жители этих Вержавлян Великих – тысячу гривен серебра. Много это или мало? Корова стоила полгривны. Кобыла – гривну. «Значит?» – вопрошал этот тощий Евграф Васильевич с всклокоченными вихрами и расплеснувшимися по лицу в веснушках синими глазами, которые будто не умещались под круглыми стеклами очков с железными дужками. «Тыща кобыл!» – кричали поселковые умники. «А коров?» – «Две тыщи!» И тут начался шум-гам: это ж скоко свиней, овец, велосипедов, а то и мотоциклетов?! И даже не одна полуторка и, того и гляди, самолет? Или даже два, три самолета?!

Величие Вержавлян мгновенно было возведено в высшую степень несомненности. Глаза у ребят касплянской школы так и сияли. Пыхтели они и у товарища учителя, который и сам в тот момент был похож на странного мальчишку-переростка в выцветшей красной косоворотке, армейских галифе, заправленных в сношенные, растрескавшиеся облезлые юфтевые сапоги. Его редкие усы топорщились, будто сотворены были из железной проволоки.

«Эти Вержавляне Великие сами были как княжество, – говорил он. – Девять погостов, входивших в эту волость, были раскиданы по рекам: Гобзе, Каспле, Западной Двине, Ельше, Мёже». И он тут же объяснял кому-то, воскликнувшему о кладбищах, что погосты – не кладбища, а центры, объединявшие несколько сел, деревень. «И каждый погост Вержавлян Великих платил князю Ростиславу в Смоленск, – продолжал он, – по сто гривен...» Тут же ему заметили, что получается тогда не тысяча, а девятьсот гривен, – ведь погостов-то было девять? «А Вержавск вы забыли?» – спросил Евграф Васильевич. «А сколь платила Каспля?» – «Тоже сто». – «Сто кобыл?» – «Да». – «Двести коров?» – «Именно». – «Много... Но Каспля городом не состояла?» – «Нет. Городом наше село было только два года по указу Екатерины Великой». – «Эхма! Чиво ж она так-то? Екатеринка-то?.. Были б мы теперь все хо-ро-жа-ане». – «Все из-за происков фаворита царицы, Потемкина. Он же родом из-под Духовщины, – разъяснял Евграф Васильевич, – и упросил отобрать у Каспли статус города, а селу Духовщине отдать. Та так и поступила». – «Дурная баба! И фаворит дурак!» – «Ну, ну, ребята, полегче. Это все ж таки исторические личности, много сделавшие для страны, хотя и царской». – «Но Духовщина – какой город?! Срамота, а не город, все там занюханное, пыльное, куцее, куры и свиньи бродят по улицам! Речонка жидкая, жидовская какая-то, переплюнуть! – кричал, распалаясь, рыжий Михась, бывавший в соседней Духовщине. – А у нас: озеро богатое – раз, – говорил он, загибая грязные от каких-то домашних работ – может, с картошкой, может, с луком – пальцы. – Река – из варяг в греки текёт, и село высоко стоит, вольно».

Евграф Васильевич грозно блестел очками, топорщил рачьи усы, требовал прекратить черносотенные разговоры, не для того били по фронтам беляков с черными помыслами, чтобы теперь походя еврейскую нацию обижать. И продолжал свой рассказ о Вержавске.

Да, жил-был такой город на реке Гобзе, что означает «богатство». И город, и вся волость горя не мыкали, дань собирали с купцов, что ходили из моря Варяжского, то есть Балтийского, в море Греческое, то есть Черное, или в море Хвалынское, то есть Каспийское. Да и другую

дань брали – с дебрей глухих, звериных, пчелиных, птичьих – Оковского леса, который простирался от Каспли и Гобзы до верховьев Волги, Днепра и Западной Двины с юга на север, и от Западной Двины до Вазузы и Вязьмы с запада на восток. Великий был лес. И дары давал изрядные: меха, мед, дубы, мясо. А в реках кишела стерлядь да форель и осетр, уж не говоря о судаке, щуке, соме, леще. «Да ну?! – тут же не поверили почти все мальчишки, бывшие, разумеется, с пеленок заядлыми рыбаками. – Стерлядь? Осетр?!» – «Именно так, товарищи рыбаки. Мне вот этими собственными глазами довелось читать статью „Ихтиофауна верховьев Днепра“, и среди прочих рыб, водящихся в Днепре на территории нашей области, там указаны и эти. И номер журнала „Вестник рыбопромышленности“ тот был еще дореволюционный, не помню уже, пятнадцатого или двенадцатого года. Вроде и недавно такое было, а все, повыловили стерлядей. Так вообразите себе, что в реках творилось при князе Ростиславе в двенадцатом веке!» У всех дух захватило. А учитель не успокаивался, рисовал картины того летописного Оковского невиданного леса, но как будто и виденные им самим: великие ели до неба, сосны как терема солнечные, дубы как вавилонские башни, а из дупел мед струится. Воск-то в цене был, не меньшей меда. Крестившаяся Русь, да и соседние христианские страны, в праздники и в будни по церквам жгли тыщи свечей. То же и Вержавск. Там были церкви. Город был обнесен дубовыми стенами – не подступишься. А еще и на моренной гряде город стоял, и с одной стороны озеро Поганое, с другой – Ржавец. Невдалеке течет речка Гобза, по ней ладьи ходили до реки Каспли, оттуда – в Западную Двину и дальше в Витебск, Полоцк, а то и в Ригу на Балтике. Торговать туда ходили вержавские купцы. Ну или в другую сторону – вверх по Каспле до нашего села и дальше волоком – в Днепр и в Смоленск, а то и сразу вниз до матери городов русских – Киева. Могли и по Западной Двине вверх пойти, а там волок на Волгу – и вниз, в Каспийское море, а там и хоть и в Персию за шелками да всякими пряностями и духами.

Строили вержавцы дивные терема, писали иконы, пели былины, разводили лошадей, выращивали сады, били варягов, гоняли литву по лесам, топили поляков и правили сообща, без князя, сами, собирали вече и решали, что да как.

Ребята внимали Евграфу Васильевичу, открыв рты. Умел он рассказывать. А уж про этот древний Вержавск – особенно.

Да, видно, это был славный град. Только как же это Смоленск стал центром области, а не Вержавск? Опять какой-нибудь фаворит помешал? Где он вообще сейчас? Никто о нем ничего не слышал. Евграф Васильевич как будто Америку для них открыл. Ведь речка Гобза не так и далеко от села Каспли...

Тут Евграф Васильевич помрачнел, наэлектризованные его усы поникли слегка. «Города этого уже нет, – сказал он. – Литва да поляки пожгли Вержавск и разорили дотла...» – «Литва!» – тут же закричали ребята с левого берега села, разделенного рекой на две части: правый берег с давних пор именовали литовским, а левый – русским, хотя уже давно на обоих берегах жили просто *касплянцы*. Ребята с правого берега в ответ только ухмылялись. «Тшш! – воскликнул учитель. – Это же давно случилось. В семнадцатом веке...» – «И город совсем-совсем пропал?» – «Да. Остались валы... Наверное, в земле что-то есть, должно быть. Мечи, черепки, наконечники, а то и клады», – убежденно проговорил Евграф Васильевич. «А вы там были?» Евграф Васильевич ответил не сразу, сдвинул брови и задумался, глядя в одну точку. Потом встряхнулся и ответил, что да, приходилось, когда гонялись за бароном Кышем.

Учитель окончил землемерное училище, но зачитывался книгами по истории и собирався поступать в археологический институт в Смоленске, да был призван в ряды РККА, после ранения демобилизовался и осел в Каспле, свел знакомство с директором школы, который, оценив его познания, и сосватал бывшего землемера на учительскую работу. Так вот, ранение он получил как раз на увалах между озерами Ржавец и Поганое, еще не подозревая, что эта гряда и есть детинец древнего города Вержавска. Воспоминание озарило его, когда он знакомился с трудами Ивана Ивановича Орловского, известного смоленского краеведа и исто-

рика, преподававшего в женском епархиальном училище и в свое время обучавшегося у самого Ключевского в Москве. Орловский, рассуждая о местонахождении таинственного Вержавска, предположил, что именно там, в поречских – а теперь демидовских, – лесах посреди двух озер город и стоял. И тут-то и полыхнуло сознание землемера Евграфа Изуметнова тем роковым выстрелом, разодравшим ему грудь горячим свинцом. Он там умирал, но и выжил.

...Эти подробности смогли узнать ребята, отправившиеся под предводительством землемера в экспедицию к древнему городу Вержавску. Решено было идти историческим водным путем, как чаще всего и ходили в те времена. Спуститься по реке до бывшего Поречья, переименованного в Демидов в честь погибшего от рук контры, жигаловской и кышевской, председателя Поречского уездного комитета РКП(б), а оттуда уже подниматься вверх по речке Гобзе – прямо к Вержавску, орошенному кровью учителя Евграфа Изуметнова.

Директор школы не знал, как ему относиться к этому предприятию, но, когда к экспедиции присоединились студенты археологи и историки из смоленского института, дал добро. Правда, позже выяснилось, что студенты отправятся в другое место, а именно на Гнездовские курганы в сосновом бору на Днепре, потому что туда прибывает экспедиция из Москвы. Но все же на третьем этапе к походу каспийских школьников, уже непосредственно на месте предполагаемого расположения древнего города, собирался подключиться археолог с двумя студентами. А из областного отдела по просвещению пришла приветственная телеграмма школьникам и директору школы, в которой сообщалось, что плавание по пути из варяг в греки к древнему городу Вержавску не сможет заменить и тысяча учебных часов по истории, и это будет наилучшим образом развивать ребят духовно и физически, а также служить делу воспитания настоящих патриотов молодой республики. Директор окончательно поверил своему шкрабу Изуметнову и начал всячески ему содействовать. Главным образом ему пришлось употребить свое влияние на родителей.

Но родители многих ребят разругались с *Колумбом хреновым в обмотках*, сиречь Евграфом Изуметновым, за то, что уводит в жаркую крестьянскую пору помощников; но некоторые ученики ослушались родителей и тайком пришли к отплытию с мешками, в коих была собрана нехитрая снедь: луковицы, сушеная рыба, буханка домашнего хлеба, крупа, соль, вареные яйца; для снажья прихватили кто овчину, кто простую дерюгу, кто войлок, а Сёма Игнатов взял пуховое одеяло и маленькую подушку. Не захотел повиноваться деду Дюрге и Арсений. Крут был старик, да и Арсений той же – жарковской – породы, сбежал, вооружившись рыболовными снастями. Лёвка Смороков, тот вообще дробовик принес – от медведей обороняться ну и дичь какую добыть. Евграф Васильевич тут же отправил его домой, сказав, что медведя они и так, стукоткой ложек по мискам отпугнут, а на пропитание будут добывать рыбу. Неожиданно много пришло девочек, но не в экспедицию, а только для проводов, как выяснилось. А в поход отпустили только троих. Их сразу назначили поварами. Галку Тимашук подвез на пролетке личный *водитель* отца, районного следователя. Запряжен в пролетку был вороной на загляденье, словно из вороненой стали жеребец, с подстриженной гривой. На берегу стоял шум и гам, смеялись провожающие, лаяли собаки. Кто-то полез купаться. Евграф Васильевич в застиранной военной летней рубахе, галифе, в потертой суконной буденовке с отвернутыми ушами, с полевой кожаной сумкой-планшетом на боку, безумно сияя очками в железной оправе, отдавал команды, отгоняя провожающих от лодок, пробуя устроить переключку, чтобы определить, все ли участники на местах. А этим участникам не терпелось поскорее отчалить и устремиться вперед, в неизвестность, в бесконечную древность, в глубине коей таится град Вержавск с теремами, церквами, персидскими тканями... ну то есть одно только место града, земля, на коей он стоял, но земля, хранящая дирхемы и серебряные гривны, варяжские мечи и литовские доспехи.

И наконец погрузили походный скарб на четыре лодки, именуемые, разумеется, ладьями, и отчалили там, где просторное озеро Каспия начинает сужаться и превращаться в речку

Касплю, огибая древний холм с краснокирпичной Казанской церковью, в тот год еще действующей.

Первая лодка пошла, приминяя желтые кувшинки, по этому следу за ней двинулась вторая, следом и другие. Евграф Васильевич капитаном первой лодки и впередсмотрящим назначил Илью Жемчужного, конечно, кого же еще, своего верного визиря, то бишь комиссара, во всем подражавшего учителю, даже очки носившего точно такие же, круглые, в железной оправе, и планшет, собственноручно сшитый из голенищ старых сапог, правда, кирзовых, а не кожаных, ну да ничего, должна же сумка подчиненного чем-то отличаться от таковой же командирской. Вообще-то фамилия у Ильи была другая – Кузеньков. Но в детстве кто-то сказал ему, что в ракушках-перловицах есть жемчуг и можно забогатеть. И Кузеньков принялся за дело: чуть свободная минута летом – и он на реке, ныряет до посинения, вылавливает перловицы, похожие на клювы каких-то древних воронов, выбрасывает их на берег, а потом, высунув язык, раскрывает створки, смотрит, ковыряет *речную животину*, как однажды, застав его за этим занятием, изрек дед Пашка. Сеньку Илья тоже вывел на добычу. У них так уж заведено было: на дерюжных крылах летать – вдвоем, что еще делать – тоже вдвоем, иногда с Анькой, если привяжется. Вот и *ловцами жемчуга* они стали вдвоем. Их одно время так и звали. Сначала думали, они жрут перловиц, их ведь можно варить, потом поджаривать на углях. Но нет, выследили, что не жрут, а только колупаются, чего-то ищут. Увязалась за ними и Анька. Они ей рассказали, что да как, и у нее жемчуга в глазах засверкали, тоже пошла нырять. Но в перловицах была только противная серебристая слизь, если мясо вычистить, и все. А Илья и говорил, что эта слизь – зарождающиеся жемчуга. Просто им никак не попадутся раковины с уже вызревшим жемчугом. Может, кто-то все время их опережает. И неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы Анька не проболталась своему папаше, сиречь батюшке Роману, про их разыскания. Он рассмеялся и открыл ей истину: перловица не жемчужница. Они похожи, но жемчужницы крупнее и водятся в речках северных. Анька тут же огорошила этим сообщением ребят... И видно, проболталась своим подружкам. Тут уже все узнали тайну ныряний и сразу прозвали Илью Жемчужным, а Аньку Перловицей. Хотя это и было несправедливо. И Анька обижалась. Ведь, скорее, ее нужно звать Жемчужной, она же открыла им глаза. Ну а у Сеньки кличка уже и так была.

Капитаном второй лодки он и был: Сенька Дерюжные Крылья. Третьей – Левка Смарков. И у четвертой был капитан, хотя на ней ведь находился и сам учитель, но уж ежели с чьего-то острого языка слетел «Колумб в обмотках», то и был он *Адмиралом* этого флота. А сапоги свои юфтевые учитель и вправду не взял, довольствуясь хорошими лаптями, и всем эту обувку рекомендовал: прямо в воде можно ходить, и все выливается, на солнце лапти вмиг высыхают, а обмотки можно и у костра высушить. Илья Кузеньков, разумеется, учителя не посмел ослушаться, лапти и обул. Еще двое-трое ребят тоже в лаптях пришли, но не по рекомендации, а из крайней бедности. Остальные были босые. Анька Перловица в ботинках-румынках на высокой шнуровке явилась, походной обувки в ее поповском доме не нашлось; и штанов ей не дал батька, бывший поп, велел плыть в черной юбке, кофте да еще и в темном платке. И мальчишки ей земные поклоны били и крестились, пока Евграф Васильевич не окоротил. А она не обижалась, смеялась и потчевала их *дурнями*. У Ани легкое было сердце, как говорил Евграф Васильевич.

3

И вот мимо проплывает обширный холм с церковью, еще не разграбленной, с крестами, холм, застроенный избами, с палисадниками, садами, огородами, пасеками; и с другой стороны – избы, сады, дворы с курами и собаками, напротив церкви – Кукина гора.

Капитаны уже не держат строй, каждый хочет быть впереди, и Адмирала никто не слушается, он охрип, отдавая команды, да и плюнул, махнул рукой. Весла молотят по воде вразнобой. Скрипят уключины. Кричат чайки. В заводях гогочут гуси.

Старик смолит свою плоскодонку, худой, загорелый, жилистый, по пояс голый, в грязных портках, босой, в картузе с треснувшим козырьком. Узрев флотилию, забывает палку с намотанной тряпкой, глядит, разинув щербатый рот, а с накрученной тряпки капает горячая смола.

– Здравия желаем, деда! – кричат матросы.

Старик молчит, щурится, прикрывает рот и жует губами, сообщает... Наконец, увидев вихры учителя из-под буденовки и очки в железной оправе, оживает и, откашлявшись, интересуется:

– Куды путь держим, Василич?

А мальчишки орут:

– В Америку!..

Но Илья Жемчужный их пытается перекричать:

– В Вержавск!

Дед сдвигает картуз на лоб и чешет затылок. Да тут огненные капли падают ему на босую ногу, и он отшвыривает свою палку, морщась, и начинает крыть матюгами. Колумб в буденовке сдвигает сурово брови и уже хочет пожуричь старого, да взрыв хохота со всех лодок перекрывает дедовы матюги.

– А чтоб вас!.. – плюется дед.

– Нет чтоб пожелать счастливой дороги, – замечает Галка.

...И потом кто-то говорил, что лицо ее вмиг побледнело. Да что-то верится с трудом. Вряд ли уж столь внимательно за ней наблюдали.

Но Аня признавалась, что в тот момент так ей захотелось перекреститься, на Казанскую оборотясь, да побоялась. А надо было. Может, чертыханье деда Прасола и перешибла тогда. Но времена-то пришли новые, атеистические. И это поистине было чудом, что в Казанской все еще шли службы, да и попы были живы и свободны... Пока. Хотя вот ее батюшка и сложил с себя ризы.

Река вела флотилию дальше. Глаза жадно поглощали идущее навстречу пространство ив, зеленых, пестрых, цветущих берегов, синего неба с облаками, и деда этого уже сразу забыли. Миновали мост дороги, что вела на Смоленск, и пошли дальше, безумно радуясь, что уж и не видать крыш родимого надоевшего села, ни огромной краснокирпичной Казанской с золотыми луковками. Здесь река текла меж крутых высоких берегов. И ласточки протягивали как будто сеть черных проводов над рекой своими полетами, будто город у них тут был, а и вправду город – глиняные берега, испещренные дырами гнезд. Ласточки остро цвиркали.

Экипажи переговаривались, шутили. Илья с *флагманского фрегата* требовал, чтобы никто его не смел обгонять. Но остальные капитаны, кроме Адмирала Евграфа, не слушались и изо всех сил перли вперед, мальчишки налегали на весла так, что те угрожающе потрескивали, а у некоторых даже уключины выскакивали из гнезд. Адмирал уже не обращал на это внимания. Он подставлял лицо речному ветерку и, кажется, был абсолютно счастлив.

Как позже поняли и остальные участники экспедиции, и они были так счастливы, как уже никогда не будут.

Позади остались все заботы, понукания взрослых, скучный труд на домашней ниве. А впереди – впереди две недели дикой речной свободы, ночевки в палатках, костры, звезды, купания. И да, еще этот неведомый город с таким свежим и в то же время дремучим названием – Вержавск. В этом названии чудилась какая-то слава, награда. Сейчас он представлялся им вообще главным городом не только молодой республики, но и вообще всей планеты. А про Америку это кричали так, в шутку. Вержавск был не менее сказочен. Нет, как раз в Америке и не было ничего сказочного, просто далекая и огромная страна с индейцами, бизонами и ковбоями. Да уже и с машинами, гигантскими домами... А индейцев и бизонов там почти и выбили.

А Вержавск был городом из былин. Воображение населяло его яркими персонажами: скоморохами, князьями, вещунами. И сказочными героями с прирученными зверями: серым волком, бурым мишкой, цветистыми птицами. Конечно, и колдуны с ведьмами мерещились, и оборотни, и тени грозных викингов на ладьях со звериными головами. Да, это было занятнее любой Америки. Вроде и свое, не чужеземное, а неведомое все же. Близкое и далекое, желанное и опасное. Слово какой-то сон, да, причудливый сон, в который можно войти... И лучше делать это с таким умным и вдохновенным вожатым, как этот их учитель в буденовке.

Каспля дальше текла в вольных заливных лугах, наполненных криканьем диких уток, посвистом куликов, кваканьем лягушек в укромных заводях, напоенных духом цветов. Кое-кто из мальчишек бывал здесь с отцами или старшими братьями на рыбалке и весенней охоте, но многие эти заливные луга видели впервые, и радости их не было границ. Они будто прозревали. Так вон какая Каспля-река! Вот каков этот путь из варяг в греки. Тут и впрямь могут идти ладьи с товаром и воинами.

Лодки шумно двигались меж низких луговых берегов, а вверху задумчиво куда-то направлялись пышные облака. Или это были острова, а синева меж ними – как проливы моря.

И только один из участников экспедиции дерзко думал, что рано или поздно будет бороздить и эти небесные реки. Это был Сеня Жарковский с облупленным обгоревшим на сельских трудах носом. Он дольше других глядел туда – в зовущую синь. И узил глаза, как хищная птица.

И почему-то ему в какой-то миг этого плавания и почудилось, что на самом деле добраться в этот Вержавск только и можно по воздуху, дурацкая какая-то мысль-то... Но следующие события как будто и подтвердили не мысль даже, а предчувствие.

К обеду флотилия дошла до впадения речки Жереспей в Касплю. Напротив, на высоком просторном сухом сосновом берегу, стояла деревня Лупихи.

Хотя уже и время обеда миновало, и давно пора было остановиться, передохнуть, поесть, но ребята и слышать не желали об остановке, всех захватило это движение к древнему городу и всем хотелось подальше уплыть от села, как можно подальше от бедности, и зависти, и несбыточных надежд. Под стать им был и Адмирал с расплеснувшимися из-под очков глазами. Ему тоже не терпелось уйти все дальше и ближе – ближе к тому Вержавску, который в странном озарении предстал в тот роковой день, к Вержавску, с которым были связаны его сны и желания. Наверное, проще ему было бы добраться туда одному, сесть на попутку в Каспле и доехать до Демидова, оттуда пойти хоть пешком, впрочем, нет, далековато, и трудно топтать по лесным дорогам, лучше взять велосипед у старого боевого друга, живущего в Демидове, Галактиона Писарева. Когда-то они вместе освобождали Демидов – тогда еще Поречье – от белобандитов, захвативших город на три дня и заливших его кровью, от боевиков братьев Жигаревых и барона Кыша... Барон – какой он барон, так, сыночек помещика, а вот, поди ж ты, прозвали бароном...

И долго потом они ломались за остатками банд по дебрям Оковского леса вместе с Галактионом, Локтем, как его все звали. Пока пуля не прошибла Евграфу грудь на вержавской гряде. А Локоть с остальными так и не взяли Кыша. И никто не сумел схватить его или пристрелить. Пометавшись еще по лесному краю, доходя до Духовщины и даже Ярцева и немало натво-

рив бед, учинив смертей и пожаров, барон тот так и сгинул. Пропал. Говорили, что сперва в Ордынской пустыни затаился, среди лесной за Духовщиной, под Белым, на берегу Мёжи, при впадении речки Ордынки. Но как нагрянули туда с обыском, никого не обнаружили. Видно, упредили его. Путь туда среди болот и лесов неблизкий, трудный. И он подался куда-то еще, в скиту на болотах скрылся. А может, потом и вернулся в Ордынку. Ведь монастырь пока еще и не прикрыли, по слухам. Или даже поселился где-нибудь еще, много укромных мест в Оковском лесу.

В нижней части устья Жереспей и остановились. Тут же стали рубить-ломать сухие сучья, деревца, а кто-то кинулся купаться. Илья Кузеньков запросился у Адмирала в Бор, деревню, что стояла выше по течению Жереспей, там у него жила родня. Адмирал шевелил электрическими усиками, синел из-под очков глазами и не хотел даже слушать своего матроса. Но тот канючил, мол, мигом обернусь, тут всего-то пару кэмэ пробежать. А загорелось Илье повидать даже не ту, родню, что жила издавна в Бору, а только бабу. Она пришла сюда из своей деревни Горбуны на озере Каспля еще осенью. Да заболела. Заходила и в Белодедово к Дюрге, деду Сени. Но Сени как раз и не было в это время дома, в школе наукам внимал. А баба Марта посидела, чаю попила с вареньем да и тронулась дальше.

Илья с младых ногтей, как говорится, обожал эту бабу, как, впрочем, и вообще вся детвора, за ее ласковый нрав и, главное, незримый какой-то короб чудных историй, сказок. Она в любой хате была желанной гостьей. С ней любая непогодь, осенняя ли, а то зимняя, не скучна. Сразу развиднеется, если пожалует баба Марта из Горбунов. Она была как праздник. Ее так и звали: ходячий праздник Берёста. Такая у нее была кличка: Марта Берёста. Завидев ее птичью шапку с ушами и козырьком, защищающим от солнца и похожим на какой-то клюв, клюв гигантской утки, что ли, длинную черную юбку и малиновую кофту, котомочку да посох, дети сразу бежали к ней. Ходила она всегда в лаптях, которые плести была большая мастерица, как и всякие игрушки, птиц, туески, коробка из берёсты, шкатулочки, тарелки, венки, пояса и даже целые шапки. В такой берестяной шапке она и ходила.

Марта Берёста раз или два раза в год отправлялась из своих Горбунов вдоль озера Каспля в село Касплю, оттуда – в Белодедово и дальше в Бор на Жереспее, к сестре Лизе. Всего восемнадцать примерно километров.

В селе у родителей Ильи она не оставалась, не желая встречаться с дедом Павлом, то бишь со своим бывшим мужем, от которого еще в молодые лета ушла в деревню Горбуны на озере Каспля к удалому коневоду со смоляными кудрями. С тех пор там и жила, уже давно одна, коневод Артем Дурасов потонул спяну, переплывая на спор с мужиками озеро, – не с мужиками переплывал, а со своими конями: хвастался, что хоть в море-окияне не пропадет со своими скакунами и они не побоятся и волны, а он меж ними будет как на корабле; и в разыгравшуюся волну и поплыл на тот берег... да вдруг его коники и повернули и назад приплыли, фыркая, выходили на берег и ржали отчаянно, глядя на почерневшее расхолодившееся озеро, хмельные мужики лодку давай ладить, отчалили, сами чуть не потонули, а Тёмку Дурасова не сыскали, позже уже выловили... Так и жила там в Горбунах на берегу озера Марта Берёста с этими лошадьми. Да сама уже содержать табунок этот не имела сил, и мужики из соседних деревень да из села ходили, облизываясь, вокруг да около, просили уступить то каурую, то гнедого... А как она поначалу заперлась, то ночью пару коников и увели. И с концами. Тогда сделалась Марта Берёста уступчивее. Всех и распродала. А денежки дочке, матери Ильюши, и Лизе из Бора на Жереспее, своей многолетней сестре.

И хотя Илья и не углядел молодую бабу среди тех коников, но порой ему мерещилось, что видел, ему даже это снилось иногда: стоит баба Марта на берегу, а вокруг чудесные кони, как и она, умно глядят на подплывающего в лодке Ильюшу.

А в гости к уже старой настоящей бабе Марте Берёсте Илья и вправду плавал с дружкой Сенькой Дерюжные Крылья и Анькой Перловицей. Аня приходилась дальней родней, триде-

святой водой на киселе – Илье, но как-то сдружилась с Ильей крепко, а через него и с Сенькой. Над ними все посмеивались – неразлучная троица, а уже после выхода «Чапаева» стали звать Анкой-пулеметчицей, Петькой и Чапаем. Особенно смешно было при этом видеть большеглазую и благообразную, как икону, Аню. А вот к русому немного увальню Илье имя Петьки вполне подходило. Как и к чернявому сероглазому Арсению имя Чапай. Тем более что через пару лет он осуществил-таки свою мечту – поступил в летное училище.

И они сидели на скамеечке у родника рядом с бабой Мартой, хрустели сахарным аркадом, налившимся как раз в августе, и слушали ее сказки, глядя на озерную серую гладь. Арсению и Ане тоже понравился ее плавный грудной голос. А еще и вот что: после встречи с ней в груди возникало ощущение странное, будто некий ком там образовался посередине, и он медленно таял потом несколько дней, ну дня три точно. Неизъяснимое чувство. Как будто этот ключ, что бил щедро из берега у деревни Горбуны, холодный, блестяще-серебряный, с песчаными завихрениями, – песок в нем был ослепительно белый, молочный, – вот молочным тот ключ и звали, – и он и клубился потом три дня посреди груди.

А что она рассказывала? Про каких-то купцов, плывших из Персии и как-то поплатившихся за свою жадность и глупость, один молодец так их провел, что заставил расстелить эти цветные шелка вокруг, и они превратились в цветущие поля. И про сосну теплую. Такая сосна росла раньше, раскидистая, золотисто-меловая, пахучая, при дороге полевой на Бор, что на речке Жереспее. И вот идет какой мужик в подпитии, ему сразу эта сосна приглянется, она его будто манит, и он присядет на минутку, а пробудет там до утра и без одежды. Хвать-похвать... А порты его, рубаха, картуз на ветках висят. И он вспомнит, что так ему подле сосны тепло сделалось, что раздеться и захотелось. Но как осенью один так вот прилег, а потом захворал да и в могилу сошел с кашля, так ту сосну под самый корень и срубили. Выходит, злая она была... А может, и добрая, но не со всеми.

Тут в ключ попал кузнечик, плавает, дергается, выбраться не может. Все его увидели. А баба Марта Берёста говорит, ну подайте ему помощь. Илья с Анькой посмеялись, а Арсений взял да сорвал травинку и сунул под нос кузнечнику, тот и выбрался. И баба Марта Берёста говорит, мол, а вы зря надсмехаетесь. Вот был один случай с пропойцей и разбойником Мартыном. Схватили его за грехи тяжкие да и бросили в узилище, в тюрьму. И сидит он, горюет – не о грехах, конечно, а о своей участи такой... Как вдруг чует: что-то коснулось щеки. Отогнал, думая, что насекомое. А оно опять. Поймал пальцами – вроде нить или паутина. Потянул – а крепкая. Сильнее потащил – не рвется. И вдруг загорелось ему вцепиться в нее да и повиснуть – не рвется, да и все. И тогда он сообразил по ней ползть. Лезет и лезет, выше и выше. А там и другие сидельцы, воры да убийцы прочухались, глянули – один ихний товарищ куда-то устремляется, да тоже схватились, полезли. И качается паутина та, сейчас оборвется. И вот Мартын добирается до самого края облака – не облака, а может, такой светлой-пресветлой земли, хватается, и вмиг все рухнуло, все его дружки-товарищи по пленению тому горькому, да справедливому. А Мартын-то на руках подтянулся, глядит: чудеса-а-а... Плоды различные, цветы, птицы. И среди всего того великолепия похаживает мужчина, спокойный весь из себя, с чистой бородой расчесанной, с большими ясными глазами. Увидел Мартына, приветил улыбкой. Мартын к нему. Мнется. Враз позабыл свой нрав, все свои хватки биндюжные, слова не может молвить. А тот словно на вопрошанье и отвечает: никто не выкарабкался, а один ты, и вот почему: паучок в кадке у твоей любовницы плавал, та и хотела его придавить, а ты не позволил, сунул соломинку и вызволил пленника да и отпустил. Не помнишь? Мартын мнется, загривок чешет пятерней. Ну а мы тут всё помним. Вот тебе и случилось. Мартын вдруг уразумел, что не сон это, да бух на колени: «Осподи!..» А тот: «Я слуга. А ты спасен на этот раз. Ступай теперь». И Мартын встал и пошел, дивясь и качая головой и скребя загривок. И все силился вспомнить ту любовницу, и ту кадку, и того паучка.

И купил после себе хату да наладился коноплю растить да вымачивать и пеньку вытягивать, веревки вязать, канаты. И такие прочные то были веревки и канаты, что к нему отовсюду заказы шли, даже от капитанов морских кораблей. И не гнила его пенька и совсем не портилась от соленой воды. Она и сама по себе прочна и устойчива ко всякой гнили, а тут еще и мастер был чистый в своих помыслах и рассуждениях. А рассуждение его с тех пор простое было: спасай всех, кого можешь, тогда и тебе будет спасение.

Конечно, и Илья, и Арсений сказки из короба Берёсты переросли, научились и самосад покуривать тишком, и подпевать матерным революционным частушкам, ну драться, само собой, до крови с *литовцами*, то бишь левобережными, – Илья на правом жил. А Сеня вообще в Белодедове, но причислял себя к правобережным. Он ведь тоже пристроился отпрашиваться с Ильей у Адмирала. Но тот не отпускал. Да скоро стало ясно, что обед затягивается и переходит уже в ужин. По всему видать, и заночевать здесь придется. Не настроилась еще походная жизнь. Да и устали все от сборов, дружной гребли навстречу древнему граду, стоявшему где-то высоко-о-о... Река-то Каспля вела вниз вроде бы, но потом-то надо будет подниматься по Гобзе – вверх. И Евграф Васильевич толковал, что город стоял меж двух озер на ледниковой гриве. Тут уже снова какие-то кони Марты Берёсты чудились.

И Адмирал их отпустил после обеда. А где двое, там и третья – Аня. Случайно услышала, куда они идут, и за ними увязалась, хотя ребята и сетовали, что будет только тормозить их, они же отпросились не пойти, а сбегать. Но Аня была упорная, быстрая, несмотря на такой свой старопрежний как будто неторопливый лад и вид. И они отправились.

4

Переплыли на лодке через Касплю, привязали ее к кусту и пошли вверх, а потом вдоль быстрой чистой Жереспей и побежали, чтобы оправдать доверие Евграфа Васильевича. Аня тоже бежала, задрав подол черного платья, смешно выкидывая ноги в темных больших, наверное, материных, полусапожках на каблуках. Бежать-то в них было неудобно, и девочка разулась и припустила за ребятами, держа полусапожки в руках. Но те уже запыхались и перешли на шаг. Оглянулись на Аню.

– Что же вы... – пробормотала она, догнав их, – хитрите?

– Успеем, – сказал Илья, – тут совсем близко.

Лес по обеим сторонам речки Жереспей был давно сведен. Только вдоль берегов и тянулся вал деревьев, и можно было далеко проследить движение реки по этому зеленому змею. Вечернее солнце косо освещало луга и поляны. На противоположном берегу еще паслось деревенское стадо. Заметив троицу, черный от солнца пастух в каком-то треухе и серой накидке луженой глоткой гаркнул:

– Ратуй!¹

И звонко щелкнул длинным бичом. Ребята повернули к нему лица, приостановились и пошли дальше.

– Рататуй, – молвила Аня с улыбкой.

– Это чиво такое? – спросил Сеня.

– Чиво, чиво, – отозвалась Аня. – Кушанье, вот чиво.

– А?

– Мм?

– Чье такое?

– Провансальское.

– Испанское? – уточнил Сеня.

– Французское, – поправил Илья.

Арсений покраснел, сплюнул.

– Трава трещит, ничего не слышно!.. И чиво, Ань?

– И того: кушанье из помидоров, чеснока, лука, кабачков.

– Щи?

– Салат.

– Мешонка овощей, так бы и сказала.

– Это блю-ю-до, а не мешонка, – ответила Аня.

– Это у попов рататуй, – сказал Сеня, – а у нас, крестьян, мешонка.

– А название-то какое-то нашенское, – заметил Илья.

– Нет, французское, – возразила Аня.

Впереди показались избы Бора. На возвышении, чуть подальше от деревни, и вправду темнели густые сосны. Бор и есть. Но как ближе они подошли, то заметили кресты среди медовых сосновых стволов – кладбище.

На деревне лаяли собаки, гоготали гуси. Улица, как обычно, была совершенно пуста. Илья вел друзей. К ним бросились пыльные кудлатые собаки. Да Сеня припас палку, отмахнулся, и свора тут же рассыпалась, визжа и захлебываясь.

– А ну! – крикнул Сеня, стараясь задать басовитости голосу.

¹ Караул! (укр.)

И собаки лишь издали лаяли. За плетнем забелел платок и пропал. В другом дворе послышался голос, подманивающий какую-то животинку: «Дюдя-Дюдя-Дюдя!.. Ай, чертяка! Подь сюды!»

Пахло пылью, навозом, а с лугов наносило цветами, от реки тянуло рыбой и водорослями. Привычный обычный запах летней речной деревни.

Тропинка свернула с основной улицы к серой избе, крытой соломой, с голубенькими наличниками, с дырявыми крынками на жердях плетня, тряпками, драными калошами, курами, сонно квохчущими в пыли, и двумя мальцами в одних запачканных рубашонках посреди кур, что-то копающими под наблюдением темной кошки в белых носочках, сидящей на скамеечке у порога.

– Здорово, мальцы! – крикнул Илья.

Детишки испуганно вздернули головы, еще не узнавая родственника. Но уже сообразили, припомнили и встали, отряхиваясь, смущенно залыбились. Илья присел возле них, погладил одного и другого по русым головам. Тут с огорода послышался зов:

– Хтой-то тама?!

И вскоре появилась сама баба Лиза в серой какой-то одежде, в сером старом платке.

– Ай! Ильюша! Никак ты? А с кем это?.. Ай, с товаришшами! – Она глянула на своих маленьких внуков. – Эй вы, пострелы-самострелы. Хватить ворзопаться в пылюге-то! Как кутенята. Вот мамка увидит, задаст. И папка подбавит... Не бояться совсем бабушки, неслухи.

Оба мальчика молча глазели на пришедших, не обращая внимания на свою бабушку, и дружно ковырялись в носках-кнопках.

Баба Марта Берёста была не в избе, а в саду. Там между старыми шершавыми и дуплистыми уже яблонями устроили легкий навес из веток и соломы и поставили топчан с санным матрасом и набитыми сеном подушками. Баба Марта полулежала на этих подушках, осыпанная стружками и полосками берёсты и липового луба. На носу бабы Марты сидели очки с треснувшими стеклами, в руках шило, лыко. Она, конечно, что-то плела. И рядом сидели девочка и мальчишка, тоже с шильцем и лыком, девочка – тоненькая, синеглазая, как баба Лиза и баба Марта, с льяными жидкими косичками, мальчик – болезненно-бледноватый, с тенями под глазами, наголо остриженный.

Баба Марта сперва всем показалась какой-то огрузневшей, отяжелевшей, огрубевшей. Но вот она взглянула на пришедших и, сразу узнавая их, улыбнулась, сняла очки, и враз ее лицо осветилось мягким прежним чудным светом, выцветшие глаза засинели, припухший нос утончился, и все черты лица стали прежними, какими-то не крестьянскими. Вот ее сестра Лизавета была истая крестьянка, как говорится – широкой кости, невысокая, с крепкими руками, в кистях так и даже почти мужичьими, с короткой шеей и плоским лицом. Тут природа-скульптор не усердствовала, а над Мартой вдруг задумалась и повела резец осторожнее, нежнее. Как будто и то же самое лицо, а другое. Та же порода, а не совсем такая. Если облик Лизаветы вполне земной, к земле и тянется, то облик Марты как будто восходит от земли. В этом и разница. Лизавета из глины слеплена, Марта тоже из нее, но с какой-то примесью небесной, – помимо белой и желтой, красной и серой глины есть в природе и синяя.

– Гляди-ка, Настасья, Егорка, кто к нам пожаловал, – молвила она, баба с ликом, вылепленным из небесной глины. – Ильюша, Арсюта и Анечка. Неразлучная каспьянская тройня. И Каспля ведь троится: озеро, село, река. Кто из вас кто? Кто озеро? А кто река? Село-то ясно – Анечка.

– Почему? – спросил Сеня.

– Так она из церковного рода, – сказала баба Марта. – Не бывает хорошего села без церкви.

– Скоро закроят, – сказал с какой-то угрозой Сеня.

Баба Марта на него взглянула.

– Откудова ведаешь?

– Так... Успенский собор же, вон, в Смоленске закрыли.

Баба Марта всплеснула синью.

– Что это ты балакаешь такое? – Она взглянула на Аню. – Или правду он баит, Анечка? Та кивнула.

– Да, сказывал папе монах, он по пути из Смоленска в Ордынку к нам заглянул. Закрыли.

– Вот как... Закрыли... – повторила баба Марта, устремляя взгляд своих очей цвета каспянского озера вдаль, к облакам, повисшим где-то за речкой, над коровами.

Она помолчала в неподвижности и снова ожила:

– Но как же это он добираться будет до Ордынки? Ведь на Духовщину ближе?

– А он сперва к папе хотел заглянуть, – ответила Аня.

– Странник иль богомолец? А то и на житье монастырское позарился?

Аня быстро посмотрела на девочку и мальчика, потом на своих друзей и, досадливо морща нос, пожала плечами, не ответила. Баба Марта кивнула.

– Ба, а что с тобой? – спросил Илья.

– Да вот... ноги нейдут... и сердце как-то ослабло... призадумалось... Но руки-то еще послушные, послушные. А вы откуда? С села? Или с реки?

Илья рассказал все про экспедицию, про клады археологические. Баба Марта качала головой, слушая. Девочка и мальчик тоже во все уши слушали, глядели жадно.

– Клады надо еще уметь не проворонить, – сказала баба Марта. – Они ведь как живые, кому покажутся, а кому и нет. Был у нас в Горбунах один мужик. Пошел как-то в лес и встретил там девушку, красивую, незнакомую и вроде пьяную или сонную, не поймешь. И она его попросила, мол, ударь меня, никак не проснись. Да кто ее знает, ударишь, а из-за дерева ее хахаль выскочит, или брат, или батька, и мало ли что делается. Так тот мужик Тарас соображал. И отказался. Иди, говорит, стороной. А она ему, мол, гляди не пожалей. Он ей, мол, да уж ладно, мне решать, чего жалеть и кого ударять. И она, уже уходя, ему, дескать, значит, все сном и останется. И что же? Вернулся тот мужик, а ночью сон ему: алмазы и смарагды да всякие брильянты россыпью по траве лесной полянки, как роса.

– Так что? – спросил, улыбаясь и недоумевая, Илья. – Кто это такая была?

– Это сокровище и было, – ответила баба Марта.

– Хе-хе, – вставил, посмеиваясь, Сеня, – выходит, как встретишь кого незнакомого в Вержавске – бей его?

– Ежели попросит, – сказала баба, улыбаясь. – Но клад и по-иному может предстать. Может, ваш Евграф Васильевич и есть он самый.

– Кто? Что? – спросили в один голос Сеня, Аня и Илья.

– Кладезь. Учитель-то.

– Да?

Ребята рассмеялись.

– Евграфа Васильевича тронь, – сказал Сеня, – так отдубасит, мало не покажется, хоть и учитель, и в очках. Он же красноармеец. Поречье от бандитов прочищал. Там, в Вержавске, и был ранен в грудь и в голову, оттого и зрение ослабло.

– Он вам целый город подарить хочет, – сказала баба Марта Берёста.

Ребята переглянулись.

– И я вам кое-что припасла, как знала. Настёк, – позвала она девочку, – сходи в кладовую, там шапки, неси три.

И пока девочка ходила, баба Марта расспрашивала Илью о делах дома, о деде Павле, об отце, работавшем счетоводом в колхозе, о матери, устроившейся в поселковый райисполком секретаршей. Поинтересовалась она и у Сени, как, мол, дедушка Дюрга, то бишь Георгий

Никифорович, не распродал еще хозяйство? Или колхозу все бережет? Доберутся ведь скоро и до Белодедова. И как он тебя отпустил от хозяйства? Илья брякнул, что Сеня сбежал.

– Дюрге самому надо сбежать, – молвила баба Марта. – Куда подальше.

Вернулась девочка с берестяными шапками, это были отлично сплетенные картузы с длинными солнцезащитными козырьками. Начали мерить. Сене и Илье самый раз подошли, а Ане оказалась велика. Баба Марта опечалилась.

– Ох, подвели глаза, обычно всё схватывали, а тут, вишь, сподличали.

– У нее прошлый раз коса была закручена, как корона, – сказал Илья.

– У нее и помыслы королевские. Кушанья всякие готовит, французские, – вспомнил Сеня, трогая длинный козырек, отлично закрывающий теперь от солнца его обгорелый нос. – И книжки читает про Францию и Англию. Видно, драпануть хочет! – И он весело рассмеялся.

Засмеялись и девочка с мальчиком.

Баба Марта с улыбкой погладила Аню по руке.

– Там не запирают церковей-то? – спросила.

Аня отрицательно pokrutila головой. Баба Марта удовлетворенно кивнула.

– А у них царь все еще?

– Не-а, этот... министр главный, премьер вместо царя, – сказал Илья.

– И не закрывает?

– Так у них революции не было, – сказал Сеня.

– Была! – возразил тут же Илья. – Но давно.

– Но и в Вержавске их никто не запирает, – молвила баба Марта.

Ребята переглянулись с улыбками.

– Там сейчас нет ничего, – ответил Илья.

– А куда же вы идете? – спросила баба Марта просто.

– В Вержавск! – воскликнула Аня, и все рассмеялись.

– Он как тот Китеж спрятавшийся, – сказала баба Марта.

Про Китеж все слышали впервые. И она им рассказала, как город где-то там, за лесами и долами, дальше по Волге, от татар ушел в озеро.

– Точно! – вскричал Илья. – А Вержавск – от литвы и поляков!

– Но говорят, – молвила баба Марта, – тот Китеж не всем и показывается.

– Как клад? – тут же спросила Аня.

Баба Марта кивнула.

А на прощанье, когда Илья спохватился, мол, Адмирал будет браниться, что задержались, пожелала им *узреть* Вержавск с его церквами и теремами.

И, надев берестяные шапки, напившись квасу у бабы Лизы, ребята поспешили назад. Ане вместо шапки баба Марта подарила такую головную ленту из берёсты, и она надела ее – будто корону.

Еще из-за плетня они увидели бабу Марту под навесом, даже и не ее, а только озерные глаза, вдруг ярко блеснувшие в лучах заходящего солнца.

И больше они никогда бабу Берёсту не видели наяву, только если кто и видел – так во сне.

5

А в лагере на Каспле уже разыгралась трагедия, Аня, Сеня и Илья еще издали услышали что-то, какие-то звуки, будто кто-то, лая, не лаял... вроде лаял, но очень странно, на одной высокой ноте. Так по осени в окрестных полях и перелесках обычно стонет-поет гончак, бегущий по горячему следу зайца или волка. Ребята даже остановились, посмотрели друг на друга, и ни от кого не скрылась некоторая бледность лица друзей.

Илья облизнул толстые губы, слотнул.

– Чего это?..

Они пошли быстрее, но, по мере приближения, шагали медленнее, неувереннее... И вдруг Аня встала как соляной столб и перекрестилась, чего никогда еще не делала при Илье и Сене: они-то были уже воинствующими безбожниками и обычно зло высмеивали все эти проявления *народной дурноты*, как учили шкрабы, но сейчас вдруг оробели. Уже ясно было, что на реке не лай гончака, а самый настоящий плач.

– Ой, я не пойду... – прошептала Аня.

Но продолжала ступать ватными ногами. Бледные Сеня и Илья тоже еле шли.

Наконец они вышли на берег и сразу увидели лагерь, лодки у того берега, ребят, стоящих вместе, а на траве поодаль вытянутую чью-то фигурку. По лицу Ани потекли слезы.

– Г-Г-а-а-лка... – пролепетала она.

Сразу было видно, что фигурка совершенно неподвижна. Рядом расхаживали какие-то незнакомые парни, видно, из деревни. Вскоре показался и Евграф Васильевич, с ним шел высокий мужик в кепке, пиджаке, кожаных сапогах. Они остановились над лежащей девочкой.

Троица так и стояла на своем берегу, не в силах сдвинуться с места, сойти вниз, сесть в лодку, привязанную к кусту и переплыть реку.

В лагере чадил притухший костер. И этот дым вмиг показался им древним и погребальным. И они не смели теперь переступить некую черту, отделявшую их от скорбного мира на том берегу.

Это был какой-то странный момент, его потом все они часто вспоминали – и Аня в оккупированной Каспле, и Илья в немецком Смоленске, и Арсений в небе над разрушенными городами и дымящимися дебрями Оковского леса. Словно они оказались на границе времен. За рекой их ждало будущее. И как будто они могли еще его предотвратить, уйти от него прочь.

Им хотелось попросту развернуться и пуститься наутек, назад, в деревню Бор, к озерным ласковым глазам сказочницы, – пусть она все перескажет по-своему. Ведь в ее сказках никто не погибал, ну или только тот, кого ни капли не жалко. Сказки ее никогда не оковывали ужасом.

Не сговариваясь, Сеня и Илья стянули берестяные картузы с голов.

Но вот тот незнакомый мужчина повернул голову и увидел их, что-то спросил у понурого простоволосого Евграфа Васильевича, тот тоже посмотрел за реку и ответил.

И ребята пришли в себя, ожили, спустились к воде, отвязали веревку, залезли в лодку и оттолкнулись веслами. Течение подхватило сразу ее, повлекло и тащило вниз, пока они вставляли весла в уключины. И снова у всех мелькнула одна и та же мысль: так и уплыть вниз по течению. Вперед и вниз, а потом вверх – к Вержавску.

Но Сеня с Ильей уже выгребали к тому берегу. Ребята смотрели на них насупленно, грозно, и они уже невольно начинали чувствовать какую-то вину...

Но ничьей вины в том несчастном случае не было. Галя Тимашук полезла купаться, но не здесь, сразу у лагеря, а ниже, на излучке, за развесистой дуплистой ивой вместе с другой девочкой, у которой было купального костюма. У Гали-то, любимой дочки районного следователя Тимашука, купальник был, да модный, с цветами, хоть сейчас в нем на пляж в Сочи. Но из солидарности она пошла с той девочкой, Олей, дочерью другого шкраба. А за излучкой

и был вир, глубокий омут, и создавалось завихрение, там местные деревенские и не купались никогда, лишь иные крепкие парни на спор в том месте реку переплывали, одолевая крестьянскими мускулами силы Чертова омута. Галя одолеть не смогла, пошла ко дну, ниже вынырнула, но уже нахлебалась воды и снова потонула. Оля закричала. Ребята услышали, кто кинулся по берегу, кто на лодке. Им удалось подхватить девочку и вытащить на берег, но откачать ее не получилось, хотя Адмирал старался изо всех сил, и перевертывал ее лицом вниз, кладя на колено, и массировал сердце, и дышал рот в рот. Галины глаза были накрепко закрыты, и руки безвольно болтались, пятки чертили на песке зигзаги.

Мужик в пиджаке был председателем сельхозартели. Он дал телегу. Евграф Васильевич не знал, как поступить. Сопроводить ли самому тело девочки в Касплю, а потом вернуться, или отправить двоих-троих дельных ребят, того же Илью Кузенькова, Сенью Жарковского, и дожидаться здесь их возвращения. Председатель недоуменно смотрел на него с высоты своего роста, двигал желваками.

– Что за колебания, товарищ шкраб? Известное дело, сам и ехай. А кто? Я, что ли?

Евграф Васильевич шевелил наэлектризованными усами, смятенно синел из-под очков глазами, вопрошал:

– А отряд на кого оставить?

Председатель мрачно оглядывал участников экспедиции, закуривал самокрутку.

– Эт да-а, – отвечал с терпким дымом, снимал с языка табачинку, сплевывал. – Я же не буду догляд осуществлять. А ну перетонут? Здесь – ответственность. Отвечай потом. – Он зыркнул красноватыми глазами на Евграфа Васильевича. – А утопленница-то чья будет?

Евграф Васильевич закашлялся:

– Тимашука дочка.

Председатель вскинул брови и, говоря: «О-о!» – пустил кольцо дыма. И помрачнел еще сильнее, надвинул козырек кепки на самые глаза.

– ...машука?..

Евграф Васильевич кивнул.

Председатель думал и яростно дымил, играл желваками.

– Как же вы, шкраб, так-то упустили учёбницу?

Евграф не ответил.

Председатель помолчал.

– И вы, шкраб, намереваетесь продолжать это передвижение вверенных плавсредств с детьми? – спросил он.

Евграф Васильевич взглянул на него растерянно.

– А вы как полагаете?

Председатель сумрачно усмехнулся, роняя сгоревшую почти дотла в его больших сильных пожелтевших пальцах сигарку и затаптывая ее каблуком сапога.

– Полагаю, что теперь вы не отвертитесь. Подразумеваю, по всей строгости и суровой законности спросят. Это не прежние вам времена Гражданской. Вы же Поречье освобождали от белобанд, верно?.. Ага. Вот, поди, и привыкли не считать подстреленных.

– А вы? – вдруг спросил и Евграф Васильевич.

Председатель взглянул с высоты своего роста.

– Чего?

– В РККА не служили?

Председатель поправил козырек кепки.

– Служили и мы.

– Где приходилось?

– За Двиной.

Они помолчали.

– Что же мне делать? – спросил Евграф Васильевич.

Председатель еще выждал и наконец сказал:

– Ладно, дам двоих парней, вон тех. Доставят. А вы тут ждите. Вероятно, будет расследование на местности, с изучением вещественных улик и всех обстоятельств.

– Да что уж тут изучать, – горестно ответил Евграф Васильевич. – Все ясно.

Председатель строго посмотрел на него.

– А это еще неизвестно в полной мере, товарищ шкраб.

– То есть как же?

– Ну, допустим, неужели никому не было известно, что эта излука называется Чертовым виром?

Евграф Васильевич развел руками.

– Нет.

– Хм. Я, допустим, вам поверю, а они, – он кивнул куда-то, – нет.

– Так и что?

– Да вот и то, что это уже можно расценить... по-всякому. Тут возможен идеологический уклон.

– Какую чушь вы несете, – не выдержал Евграф Васильевич. – Девочка захлебнулась... Как же я недосмотрел?! – Он горестно качал головой.

– Чушью это было бы, если б она являлась дочерью крестьянина-единоличника, а даже если бы только дочерью колхозника, а тем более партработника и вообще представителя власти, – это уже тенденция в сторону саботажа и вредительства. Вы думаете, гибель дочери работника ОГПУ...

– Ничего я не думаю!.. – в сердцах воскликнул Евграф Васильевич, отходя от председателя.

– А зря, – бросил ему вслед председатель.

Утопленницу увезли два парня из Лупих уже поздним вечером. А ребята остались на берегу. Пора было готовить ужин, но никто этим не занимался, сидели, потерянные, молчали. Но все-таки Евграф Васильевич распорядился варить кашу и чай. Оля, выплакавшая все слезы, не выходила из палатки. И огонь вздувала Аня, ей помогли Илья и Сеня. Из деревни приходили бабы и дети, смотрели издали на костер, палатки, лодки и уходили.

Никто не знал, что всех ждет утром, будет ли продолжен поход или нет. Засыпали уже ночью, когда над Лупихами, реками Касплей и Жереспеей горели звезды и четкий точеный месяц отражался в воде. На противоположном берегу всхрапывали и ржали лошади, там они паслись под приглядом двух ребят. Уныло мычала выпь, взбрехивали собаки. Над лугом стлался туман. Было довольно свежо. Ныли комары.

...Рано утром послышались громкие голоса. Ребята выглянули из палаток и увидели пролетку на берегу, ее сразу узнали – Тимашука. А вот и он сам и милиционер. Тимашук был невысок, смугл, с маленьким подбородком, выступающим носом, в белом кителе-френче с петлицами, в белых брюках и в фуражке с бирюзовой звездой. Милиционер – в серой гимнастерке, шароварах, заправленных в кирзовые сапоги, и с винтовкой. На ремне кобура. Возле пролетки стоял навытяжку всклокоченный полуодетый Евграф Васильевич, в галифе, нижней не заправленной рубашке, без очков, будто его уже собирались расстрелять. Эта мысль мелькнула у Сени, он слышал, что в таком виде и расстреливали белобандитов и прочих саботажников.

Кто-то из мальчишек принес из палатки его гимнастерку, буденовку, а очки так и не могли найти сразу. Тимашук, оставив милиционера с Евграфом Васильевичем, прошел к Чертову виру, окинул его быстрым взглядом. Вир сейчас туманился, всхлипывал воронками. Тимашук вернулся и кивнул милиционеру, тот толкнул Евграфа Васильевича к пролетке, и он занял одно место. Но Тимашук не стал садиться с ним рядом, а велел сесть там милиционеру, а сам устроился впереди, взял вожжи.

– Ребята, – позвал Евграф Васильевич, – Арсений, Илья, возвращайтесь по реке в лодках в село!

Его лицо без очков выглядело странным, вольным, как будто радостным. Тимашук дернул вожжи, бросил: «Но!» – и пролетка покатила, уносимая великолепным вороном, переливающимся стальными отсветами. Ребята молча смотрели ей вслед.

6

Так и закончилась эта экспедиция в древний город Вержавск.

Многих потом вызывал Тимашук, опрашивал сам, а иных молодой дознаватель, Степан Гращенков, касплянский парень, мечтавший выучиться на следователя и потому всячески помогавший районному начальству. Но что они могли показать? Никто, кроме Оли, и не видел, как это произошло. Сила природы – вот что послужило виной гибели девочки. Конечно, и незнание местных особенностей. Очевиден был как будто и просчет шкраба, и вообще школы. Нельзя было позволять ребятам купаться без присмотра – это, во-первых. Во-вторых, следовало в поход отправить еще одного шкраба – для присмотра. Но только Евграф Васильевич и был бобыль без своей земли, жил в плохонькой избенке, хозяйства никакого не вел, из живности в его избе только пауки водились да приبلудный кот в рубцах и шрамах с половиной хвоста и одним ухом, по кличке Спартак. Остальные шкрабы, едва закончив уроки, оборачивались, как в сказке, в крестьян, пахали и сеяли, обрабатывали землю, ухаживали за коровами, пасли овец, чистили хлевы у своих поросят, разводили пчел, как бывший священник, отец Ани. А Евграф Васильевич *разводил думы*, как говорили о нем, посмеиваясь, на селе. И для прокорму *этого стада* выписывал газеты, и журналы, и книжки.

В Каспле выходила газета «Вперед к социализму». Редактор охотно принимал статьи Изуметнова и платил ему за это гонорары натурой: крупами и картошкой, капустой и огурцами; но иногда и деньгами – на приобретение книжек. Книжки ему присылали с оказией и в дар, из педагогического института Смоленска, а также из исторического музея. Евграф Васильевич вел переписку с краеведами и историками Смоленска. Был знаком и с Ефремом Марьенковым, уроженцем Каспли, ставшим красным командиром и писателем. Наезжая из Смоленска и чтобы родню проведать, и ради сбора материалов на статью для смоленской газеты, Марьенков всегда заходил в гости к шкрабу-землемеру. В то время он как раз приступил к своим «Запискам краскома». Однажды он приехал с высоким, статным горделивым корреспондентом журнала «Западная область», своим младшим другом Сашей Твардовским. Они просидели в избенке Изуметнова до первых петухов, чадя папиросами, и распивая привезенный чай, и споря, разумеется, о судьбах мира и страны. Твардовского очень заинтересовали рассказы Евграфа о Вержавске, о событиях Смутного времени *в привязке к местности*, как он точно определил. Кроме статей голубоглазый статный, как польский гусар Сигизмунда Третьего, Твардовский сочинял стихи. Правда, в тот раз он отказался прочитать что-нибудь, но обещал подумать насчет Вержавска. Вот потом Евграф Изуметнов все ждал, искал стихи про Вержавск. И говорил об этом Илье. И о Марьенкове с Твардовским рассказал ему. А Илья, конечно, Сене и Ане. Говорил, что тогда под утро в его избе они даже условились собраться и предпринять поездку в Вержавск. Твардовский недоумевал, почему ему никто не рассказывал в Рибшево, куда он любил ездить, к председателю колхоза Прасолову, о Вержавске, это же совсем рядом, в верховьях Гобзы, подле которой древний город и стоял. Евграф отвечал, что об этом городе все еще идут споры, мол, не Ржев ли то? Или где-то на речке Вержа. Краевед Иван Иванович Орловский бывал там и видел валы, оставшиеся от укреплений. И Евграф хотел бы все там пощупать, как говорится, своими руками. Хоть бы на лошадях туда доехать. «Зачем же на лошадях? – деловито возразил Твардовский. – Организуем машину, правда, Ефрем?» – «Тогда надо ехать вокруг, через Слободу», – сказал Евграф. На том и порешили.

За Евграфа ручались директор школы и редактор «Вперед к социализму». Узнав о его беде, прислал письмо и Марьенков. Защитники напоминали о его безупречной службе в РККА и ранении, в результате коего он стал хуже видеть и часто переносить болезни легких и верхних дыхательных путей. Коллективное письмо в его защиту написали ученики. И шкраба отпустили. Но из школы уволили. Он мыкался, перебиваясь кое-как картошкой, которую ему

давали колхозники, родители его бывших учеников, за копку, – а для того его приглашали поработать; ребята с озера и реки приносили ему улов: сомов и щук, окуней. А тут как раз освободилось место в редакции, и редактор сразу же пригласил Евграфа на работу. И Евграф летал по селу окрыленный, там и здесь блестяли ртутно его круглые очки, все-таки найденные ребятами в палатке; строчил в тетрадке, выспрашивая у селян о том о сем. Кроме дел повседневных его интересовала история села и окрестных деревень, и он вел в газете рубрику: «На пути из варяг в греки», откапывая все новые и новые подробности. И уже собирался в Вержавск, чтобы потом писать исторический очерк с продолжением. Но редактор однажды пришел к нему и, приобняв за плечи, сказал, что дела плохи, он вынужден его уволить. Евграф и не был сражен этим известием. Он был уверен, что у Тимашука слишком крепкая хватка и цепкий долгий взгляд. Но все же спросил: «Тимашук?» Редактор только стиснул его плечо. Он обещал подыскать Евграфу работу, но скоро упразднили Касплянский район, и газету вообще закрыли, редактор перебрался в Демидов. На работу Евграфа никуда не принимали, он был изгой, ни в колхоз, ни в Озерище на льнозавод, ни на кожевенный завод братьев Савинкиных. Только колхозники и нанимали на всякий подсобный труд, чтобы с голоду шкраб не помер. Но скоро и они это делать перестали. Сила Тимашука была незрима, но реальна. И Евграф сдал, похудел, почернел, изнашивался. Но все сидел в своей избенке с соломенной крышей и при свете все той же древней, как славянский мир, березовой лучины читал книги и делал какие-то записи.

На родину, в Рославль, он почему-то не хотел возвращаться. Может, потому, что Рославль слишком далеко от полюбившихся ему мест, далеко от города Вержавска.

А вот Демидов даже ближе, чем Каспля, к Вержавску. И там у него проживал боевой товарищ Галактион Писарев, и надо было уезжать к нему. Но Евграф Васильевич тянул, полюбилась ему это село на холме над озером и рекой. И надеялся он, что удастся вернуться в школу.

Илья просил родителей помочь Евграфу Васильевичу, отец, невысокий и полный, щекастый, лобастый, печально завздыхал, то же и мать, рыжая и зеленоглазая, светлая женщина... Илье в этот момент они померещились какими-то диковинными молочными людьми, из сметаны и творога сотворенными. Тут на помощь им пришел дед Павел, белоголовый, согбенный, с глубоко запавшими глазами, но все еще синими, как и у его Марты Берёсты. «Нет! – отрезал дед. – Пуцай мается. И поделом. Угробил девоньку».

Илья переговаривался с Сеней и Аней о Евграфе, мол, как ему пособить? Аня сказала, что при Казанской нет сторожа и она попросит папу. Сеня презрительно цыкнул, усмехнулся и возразил, что, во-первых, батюшка ее уже не служит, и вообще он дает голову на отрез, что Адмирал не пойдет. Так и случилось. Евграф ответил, что он убежденный безбожник и никак не может охранять эту курильницу. Он любит ясность и справедливость, а существование боженки за народный счет есть яркое свидетельство несправедливости.

Тогда Сеня обратился к своему *помещишку*, как он называл деда Дюргу, тот ответил, что *легкая кавалерия* только и ждет, когда он станет использовать наемный труд. Он остро глянул на внука. «Да ты не вступи ли в их компанию?.. Гляди. И об этой комсомолки даже не думай». Сеня быстро сообразил что-то... И сказал, что его как раз и зовут вступать. Дед поглядел изпод черных молодых бровей. «Ну а ты?» – «А я... думаю...» – «Чего тут думать?..» – «Думаю, вот ты, дед, поперек не хочешь идти, Евграфу пособить чуток. А мне советуешь поперек всех поступать – не вступать. Илья вступает». – «У него колхозная семья». – «Ха, а твой сын Семен тоже уже колхозник. И мама моя». – «Но не твой дед, – сказал тяжело Дюрга. – И твой батька ни за что не вступил бы. Понапридумали, колхоз, совет, МТС... Как оно переводится? *Мир топит Сатана!*» Сеня посмеялся.

Но дед Дюрга не забыл этот короткий разговор и принял вызов внука. *Загорелся хвятилёк*, как говорила о нем в таких случаях баба Устинья.

Как-то выйдя из все еще не закрытой Казанской и направившись к дому свояка, во дворе у которого оставил пролетку, дед Дюрга столкнулся с Евграфом, поговорил о том о сем да и позвал его на весеннюю работу в Белодедово. Шкраб испытующе возвел расплескавшиеся синие глаза на деда Дюргу и согласился. Собираться ему было нечего. Хозяйства нет, запирать хату ни к чему. А кот Спартак и так сам промышляет, свободно охотится по садам и огородам, а то и хатам селян. И он забрался в пролетку.

Дед Дюрга, как та Казанская, чудом держался в новых условиях на особицу. Был он еди-ноличник. В колхоз не шел, несмотря на все ухищрения новой власти, посулы, угрозы. Когда сформированный из комсомольцев на селе отряд *легкой летучей кавалерии* прибыл к нему на хутор в Белодедово и попробовал, как у других упертых единоличников, разобрать крышу и печную трубу, дед Дюрга зарядил ружье солью и высыпал по комсомольским жопам, те и пока-тились, как спелый горох из взорвавшегося стручка.

Дед Дюрга был человеком прожаренной, как он сам говорил, породы. Неспроста же и фамилию такую носил – Жарковский.

Глядя на уносящих ноги *легких кавалеристов* с саднящими задницами, Сеня и вспоми-нал семейное предание о николаевском солдате Долядудине, правда, версию номер два.

Это уже не баба Устя, Устинья, жена Дюрги сказывала, а один старичок, Протас-рыбачок, что вечно на своей долбленке с сетями на речке возился, и сказывал про то не Сене именно, а соседу Ладыге, длинному, кадыкастому, с выгнутыми глазами и большими зубами, в серд-цах за что-то на Дюргу, мол, известное дело, с дедом-солдатом не зря ведь на дороге в Демидов промышляли троих, сам солдат Максим, сынуля евойный Никифорка да унучек этот Дюрга, зло, оно как ржавая пружина торчит, ломай не ломай, а куски проволоки шилом все порют, хоть лоб в церкви теперь расшиби всмятку. Тем и забогатели! Ироды. Вон, какое хозяйство кулацкое настроили. Да ишшо сколь золотых сережек-колечек и рублей кладом зарыто. «Ну? Где?» – взвился Ладыга. Да тут Протас заметил за камышами, у воды, Сеньку с удочкой и при-молк, опасаясь неприятностей.

А версия бабушки Усти была другой.

Служил солдат Максим у царя двадцать пять лет. Служил, воевал там, с турками али с французами. И на родину вернулся. По дороге в Долядудье свернул в селе Каспле к Казанской. Помолиться, отдохнуть. И вот сидел он там, около церкви на травке, оглаживал поседевшие усы, отрясал пыль с мундира, тер и так-то начищенные пуговицы, белые полотняные шаровары оглядывал – сидел-то на скатке, на шинели, чтоб штанов не перепачкать, на колене фуражка его. Из мешка достал хлеб, луковицу, соль, кусок копченого сала да шкалик с горькой. Тогда еще Казанская деревянная была. Это потом уж из красного кирпича купцы отстроили.

Сидел он, думу невеселую думал. На селе уже кто-то донес ему весть о померших роди-телях в Долядудье, о разобранной кем-то хате. Ну? Куда ему теперь идти? И здесь на селе никого. Один как перст остался. И выпивал он горькую, матку с батькой поминал, закусывал...

И тут глядит, из церкви выходит барышня в светлом платье, в шляпке такой, садится с помощью кучера в коляску. Кучер неловко ногу занес да и сорвался, растяпа, брякнулся на землю, а лошади и заржали и понесли. Миг! Солдат знает, что это такое. Уже на ногах, опрокинул мешок, с колена слетела фуражка. Да и побег наперерез, сильнее, сильнее, вытянул руки и ухватил лошадей под уздцы. А был он крепок, даром что все лучшие годы армии да царю роздал.

Так и спас ту барышню.

И она поинтересовалась, кто он, и откуда, и куда путь держит. Солдат, подкрутив ус, все как есть сказал. И она его благодарила, денежку какую-то давала. А солдат и не взял.

И ушел к себе в Долядудье. Ходит там, смотрит на разоренье. На речке рыбу ловит, шала-шик построил. Так и живет. У костра лежит, ушицу хлебает, трубочку курит.

А как-то слышит: топот конский. Подъезжает бричка. Кучер вежливо зовет его с собой к купцу Максиму на село. Солдат поверх исподней рубахи мундир свой надевает двубортный с неугасшими еще пуговицами, фуражку, коротенькие солдатские сапоги – прежде прочистив их, – да и едет. Купец его к чаю приглашает, потчует. Известно, какой купеческий чай: мед, да вино, да рыба, да бараньи ребрышки, да пироги, да икра с блинами. Как, спрашивает, звать-величать? Максим Долядудин. По деревне-то и взял себе фамилию. Ишь, да мы тезки, купец ему, я – Максимов. И по душе пришлись друг другу. Купец благодарил его за спасение дочки, мол, ежели б далее лошади понесли – разбилась бы ее головка, там же круча какая над рекою, обрыв. Солдат тоже благодарит за чай по-купечески. Встает да кланяется, обратно собирается. А купец ему: постой, служивый, это только присказка, а купеческая благодарность впереди. И дает ему золотых царских червонцев кубышку.

– Так и забогател твой дед, – закончила рассказ баба Устя.

– Дюрга? – спросил Сеня.

– Нет, Дюрга – Георгий, а того деда солдата звали Максим. От него пошел весь наш Жарковский такой вот род.

– Так тот солдат был Долядудин?

– Ну так. А его сын, Никифор-то, стал Жарковский.

– Как же так, баб Устя?

– Да вот так уж и есть. Дюже горяч он был, той Никифор, как сто пожаров. Чуть что не по нем – в крик и в драку. Оттого и на хутор ушел. Сынок-то его, дедушка твой Дюрга тоже с огнем, да поспокойнее. Поспокойнее, но того и гляди обожжешься.

Это уж Сеня и сам знал. Дед запросто мог перетянуть вожжой, если опростоволосился – коз, там, запустил в пашню или мешок с зерном оставил на дворе на ночь росистую... Большеносый, узколобий, узколиций, дед солёно ругался и был круто-жесток временами. И силен, хоть вроде и невысок, и стар уже. А как разденется, так все мышцы катаются будто бока чугунок или яблоч-антоновок по осени. Дед Сене напоминал какой-то заморский корень, и не заморский, а приморский – женьшень. Видел картинку в журнале на этажерке. Этажерка стояла в углу у стола, вся заваленная старыми журналами «Вокруг света», с какими-то склянками, в коих уже окаменели мази, прополис, со свечками, столь потрепанным Евангелием, что один из гостей, заметив, пошутил насчет Нового-то Завета, мол, ветх на самом деле, как и прежний.

Вот и дед был такой весь перекрученный, жилисто-мускулистый, как тот корень на картинке. Каргуз наденет – один нос торчит. Глаз не видно, но ясно, что глядит кругом цепко-прицельно, в синей рубахе в горошек, в жилетке кожаной потертой, в коричневых штанах и в кожаных хоть и старых, но крепких еще сапогах со сбитыми каблуками. Идет, постукивая прутиком по колену. Бородка короткая, черно-белая, *перец с солью*.

А он же и был потомок того солдата Максима. И как огреет кого, батрака к примеру, или поддаст внуку, или учинит нагоняй невестке, Сениной мамке, – за грязный подойник или еще за что, так сразу Сеня и вспомнит иную, разбойную версию богатства солдата Максима Долядудина.

Тут и гадать нечего: мол, спаситель или разбойник? Конечно, разбойник.

И Сеня к Дюрге приглядывался, как он ходит неслышно-легко, как нож держит или топор жилистой загорелой рукой, одним ударом петуху голову срубает, как смотрит из-под картуза: глаза – два черных желудя и нос брюквиной. И вдруг так сощурится, заметив к себе внимание, насупится...

Нет, было что-то в нем такое, было.

А Дюрга и бормотал угрюмо, когда власть понаставила *красных флажков*, как на волчьей облаве, и давай загонять мужиков в коллективную артель, что лучше петуха пустит да в лес уйдет.

– И куды? На разбойную дорожку? – осторожно вопрошала маленькая Устя, оправляя платок.

– А и то больше ладу, – отвечал дед. – Был же Стенька Разин. И про него до сих пор красивые песни поют.

Устя мелко крестилась. А Сеня думал: ну точно! так и есть! Истинную правду плел Протас.

Сам-то Сеня хотел в колхоз. Скучно было на хуторе. Правда, и деревня Белодедово, бывшее Долядудье, недалеко, но всего-то несколько дворов. То ли дело Каспля – видное, красное село. С флагами, сельмагом, клубом, куда уже привозили и немое, и звуковое кино. И школа прямо там, а так прись, как ходок к Ленину, каждое утро туда и обратно, всего и немного, получается двенадцать километров, но в любую непогоду – в пургу, в дождь, ветер. Зимой так и не рассветет еще, потемки, того и гляди угодишь волку на зуб. А они так и похаживали вокруг, по ночам завывали.

Перешли бы в колхоз – переселились в Касплю. Каспля была как город. Центр района. Правда, потом упразднили. И только в тридцать восьмом снова вернули.

7

Евграф Васильевич взялся с охотой за весенние работы на поле Дюрга. Ходил и поднимал камни, что вытолкнула земля, собираясь с силами всю осень и зиму, – чтоб плуг не повредить. Потом прорывал дренажные канавы, чтобы лишняя вода ушла. Убирал и сорняки, мох, песок. «Проводил партийную чистку», – как шутил Дюрга. Он же говорил, что поле перед посевом должно быть чистое, как лицо. Фофочку всегда передергивало от этого сравнения. Дед усмеялся. «Что не так?» – «Как же это вы, Георгий Никифорович, будете плугом-то по нему?» – отвечала вопросом мама Сени. «А это уже станет плоть, – говорил дед. – И плуг отверзнет ее для семени». Мама Фофочка краснела.

Но условие было одно: не за плату труд, а только за кров да еду. Ежели налетит *легкая кавалерия*, чтоб отвечать: кормлю из милости, а он работает из благодарности, да и все. Дед хитер был, тертый калач.

Ночевал Евграф в светелке, как называли добротную пристройку к бане, где был топчан, стол, глиняная небольшая печка с железной трубой; когда-то там жили батраки. Хозяйство-то у Дюрга раньше было большое, неспроста же Сеня его кликал помещщиком Чёрнобелом. Это из-за цвета его волос и глаз. Стар он был, а волосы всё смолисто-черные с синеватым отливом, только в бороде соль. А деревня и хутор звались Белодедово. Вот и Чёрнобел. Ну а деревенские и на селе его просто кулаком Дюргой называли.

После семнадцатого года и революции дед Дюрга ловил, ловил своим большим носом-брюквиной ветры переменные и уловил, начал потихоньку сворачивать хозяйство. Батраков отпустил на все четыре стороны, а те, правда, уходить и не хотели. Куда им прибиться? Дюрга Жар, как его все звали, или Георгий Никифорович, хоть и крут, но справедлив, прижимист, но что должен заплатить – всегда заплатит, а попросишь дельно – не откажет, зерна там или картошки мешок, лошадь съездить по неотложной надобности на село или куда еще. Давал, например, денег на свадьбу дочке мужика, что батрачил, Дёмке Порезанному. Правда, тот чуть было в запой не ушел вместе с подвернувшимися дружками, но Дюрга с сынами к нему сразу явились, взяли за грудки, вытрясли деньги да прямо дочке-невесте и отдали. А в наказание Дёмке наряд, как в армии, дали: на новую баню лес возить, без платы, конечно, только за один корм. И Дёмка возил. Кривил искромсанный в давней драке ножом рот, ворчал, конечно, как без этого. Зато и свадьбу сыграл ладную, сытную, пьяную, как положено, с песнями и кулачными боями промеж особо рьяных, коих тут же и подхватывали, тащили к речке, макали, чтоб охолонули.

Дед Дюрга Жар землю избывал потихоньку, скот продавал, лошадей, оставил только двух коров, быка, свиней, десяток овец. Скоро и вторую корову сбыл. Потом быка. Антона не продавал, это был могучий конь в яблоках, и те яблоки так и напоминали антоновку, отсюда и прозвище.

Но отмазаться Дюрга Жар уже не мог, к нему накрепко приклеилось звание кулака. Кулак. Тот же Дёмка Порезанный всюду и трывдел про Дюргу: кулак, мироед, – когда тоже учуял чем новые времена пахнут. А то был запах ненависти к богатеям, зажиточным, офицерью и церковникам. Дюрга отослал двух подросших внуков на Донбасс, добывать угля, от Каспьянского комбеда подальше. Сеня еще не дорос до шахтерского труда, но и его дед уже подговаривал. А Сеня хотел доучиться в школе и поступить в летное училище. Уже ему в кровь, в кости, в глаза вошла эта мечта о небе. И он горел окончить семилетку, а там и восьмилетку, слухи такие ходили, что будет добавлен восьмой класс, а там, глядишь, и девятый, и десятый. *Хвятилёк*-то Жарковский тоже загорелся.

А в школе он мог и недоучиться. Дело в том, что это прежде в земскую школу и церковно-приходскую принимали всех подряд, а в школу победившего пролетариата в смычке с

крестьянством в год возникновения на селе колхоза постановили брать только детей колхозников. Не вступил в колхоз – не видать тебе света грамотности, прозябай в темноте. Школа теперь стала ШКМ – Школой колхозной молодежи. И всех внуков и внучек Дюрги из школы отчислили, кроме уже отучившихся двоих. А всего у Дюрги было восемь внуков.

У Андрея, старшего сына Дюрги, было двое сыновей и одна дочка, а у младшего, Семена, – пятеро детей: три дочки и два сына.

Что делать было шестерым внукам? Все хотели учиться и чего-нибудь добиться в жизни. Но дед Дюрга упрямылся, отказывался вступать в колхоз, а все они вели одно хозяйство, и семья Андрея, и семья Семена, и сам Дюрга с Устиньей. Правда, сын Семен жил отдельно, поблизости, в своем доме. Но земля была общая. И скот.

Сын Андрей погиб в мировой войне и ничего уже решить не мог, а сын Семен решил: чем безграмотными выйдут во взрослую жизнь дети, лучше пожертвовать этой хуторской единоличной волей. И вступил в колхоз. Дед Дюрга Жар впал в великий гнев и проклял Семена и его потомство. Зато дети Семена снова пошли в школу. А Сеня и его сестра – нет. Они-то с матерью жили под одной крышей с Дюргой и Устиньей и потому считались единоличниками. Что им было делать? Канючили у мамы, агитировали ее вступать в колхоз. Но она не смела послушаться сурового свекра Дюргу.

Хотя Дюрга и не такой уж был супостат.

На праздник, на Рождество или Пасху, после поездки в Касплю, в Казанскую церковь дед в светлой рубашке, с расчесанными волосами был весел и добр, как Дед Мороз, внуков и внучек гладил по головке, кому новую рубашку, кому ботиночки, кому ленты, кому медовые пряники сам дарил, хоть и заготовлено все было бабой Устиньей. И веселую молитву читал: «Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, рабу Своему, и вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. Так бы и нам! Аллилуия!»

И все, а прежде всего дети, должны были тут же подхватить: «Аллилуйя!»

И подхватывали, взывали, как волчата или лисята.

А дед Дюрга слушал, шевеля черными молодыми бровями, перебирал узловатыми пальцами по чистой скатерти с вышитыми цветами и птицами.

Правда, Сене все это казалось блажью. Будто Боженька слышит эту ихнюю *аллилую*. Ничего не слышит, он сам много раз проверял: просишь, чтобы судак клюнул на Каспле, а не клюет, или клюнет плотвичка. Просишь солнышка на пастьбу, а сеется дождик. Просишь зубу утихомирения, а он ноет и болит, зараза, ноет и болит, покуда ниткой баба Устинья не привяжет к двери да и дернет с той стороны. И так постоянно. Сеня не мог взять в толк, чего это они, Дюрга, Устинья, дядька Семен, мамка, тетка Дарья дурака ломают, поклоны иконам кладут, как беленой опоенные.

И когда они втроем приплыли в Горбуны, Сеня, насмешливо косясь на Перловицу, поповскую дочку, спросил о том у бабы Марты Берёсты. И та ответила просто, что дается не по просьбам, а по вере и делам, ежели вера горяча и крепка, а дела добрые, то и воздается. Ну, после Сеня и пробовал горячо и твердо верить и не драться, не шпынять сестренок, не таскать у Протаса судаков из сети, – неделю держался, блюл себя, руки мыл чисто, каждое утро «Отче наш» бормотать наладился даже.

И что?

Да ничего. Как жил, так и жил, пас скотину и ничего не обретал. Начали с Ильей планер строить, так кто-то набрел в овражке на их укывище в кустарнике и весь стройматериал утащил.

И он снова стал таскать судаков у Протаса, обижать Зойку с Варькой да Лариску с Маринкой, биться на кулачках с Колькой, сыном Ладыги, запускать в горшок с малиновым вареньем ложку втихаря ну и все такое творить. И ни милости не было ему сверху, ни наказания. Хотя как сказать про последнее. Оно, наказание, иной раз и являлось в виде оглушительной оплеухи от деда Дюрги или ругани бабы Устиньи. Ну а милость ни в каком виде и не показывала себя. Или считать милостью новые порты взамен шитых-перешитых драных портов старших братьев? Да сахарного петушка, принесенного бабой Устиньей из сельмага?

И окончательно он разуверился позже, когда книга Отто Лилиенталя пропала.

Один городской родственник Ильи обещал купить и прислать им книгу немца Лилиенталя, в которой даны основы техники полета и планеризма, – от этого родственника, студента, друзья и узнали про немца воздухоплователя. Он жил в Смоленске, а учился в Москве на инженера. И там в каком-то магазине он отыскал книгу немца! И отослал ее в село Каспля. Но книга исчезла, растворилась. Будто летела по воздуху и ее снесло куда-то ветром. Узнав из письма этого студента Игната Задумова о посланной книжке, Илья с Сеней побежали на почту. Почталь, вислоусый Бобер, как его все звали, порылся в своих бумажках, и покачал коротко стриженной головой в пигментных пятнах, и скорбно взглянул на них своими отечными водянистыми глазами, и чуть оскалил два длинных передних зуба. У Сени даже мелькнула тут мысль: а не сожрал ли он книгу?! Ребята начали канючить, ну дядь Мить, ну посмотри хорошенько, ну должна книга прибыть, уже месяц как послана, а? Бобер тихонько зарычал себе под нос, но снова все перешерстил и прихлопнул по столу ладонью. Нет! Ребят аж колотило от нетерпения. Как же так? Из самой Москвы книга шла-шла, ехала-ехала, на поездах поди, на машинах всяких. И вдруг исчезла?! Ведь попробуй ее еще в той Москве найди. Сколько там магазинов этих, сколько книг. А Игнат Задумов сыскал.

– Это кто таков Задумов? – поинтересовался Бобер.

– Сын Гаврилы, – ответил Илья.

– Это которого?

– Моего дядьки двоюродного, из Пындино. Они в Смоленск переехали.

– Гаврилы? Антонины сына? Так он же тоже Кузеньков был? – удивился Бобер.

– Был Кузеньков, стал Задумов, – сказал Илья.

Бобер покачал крупной головой.

– Вишь, фамилиё ему не пришлось там. А чего? Хорошее фамилиё. Кузькина мать, что ль, вспоминается? – спросил Бобер нечаянно.

Илья вспыхнул:

– Вы чего это?!

– Вот, что, ребята, – засуетился Бобер, – как посылка прибудет, я сообщу. Письмоношу Моню пришлю. В обязательном порядке. Никаких сомнений.

Они, конечно, приходили за книгой еще целый месяц, через день, как в школе занятия окончатся, идут на почту. Бобер уже видеть их не мог, с треском раскрывал окно и махал руками, мол, нету, нету вашей летательной книжки. Он уже знал даже ее название: «Полет птиц как основа искусства летать». Даже имя автора запомнил: Отто. Правда, фамилию перевирал: Лулела-нда-галь. Ну по всякому.

Уж книгу-то эти высшие силы, которым дед и баба молились, могли вернуть? Ведь и дед хвалил религию ту за книжность, мол, христианский народ весь целиком из Библии вышел, в той Библии, сиречь Книге, он и зародился. И свет книжный по миру понес. Веруйте в Книгу, балбесы, и все вам будет. Ну? Сенька и просил на всякий пожарный случай: верни книжку Отто Лилиенталя. Не вернул.

И все так и шло в этой жизни, никаких знаков и поблажек, все круто и сурово, и если сам чего недоглядел, то уж никакие тебе ангелы с архангелами не пособят. Так и к чему это все?

А дед Дюрга, припомнил Сеня повесть Протаса про разбойника солдата Максима, грехи своего деда хочет так заместить – молитвами. А и это пустое и темное!

Темен дед и внука во тьму загнать хочет.

– Мам, я уйду к дяде Семену, – пригрозил Сеня. – Пусть он меня сыном к себе возьмет.

Буду Семеновичем, а не Андреевичем.

Мать изумленно уставилась на сына.

– Ты что, сынок? Что говоришь-то?

Тот упрямо боднул воздух.

– А что? Вон родственник Ильюхи: был Кузеньков, стал Задумов. Я тоже, когда вырасту окончательно, фамилию сменяю.

– Чего городишь-то... Не нравится тебе фамилия.

– Да, не нравится. Она – кулацкая.

Мама испуганно оглянулась.

– Тшш, сынок... Глупый, что ли?..

– Нет, поменяю.

– Да на какую же?!

Сеня думал мгновенье:

– Лилиенталь!

Мама отшатнулась и перекрестилась.

– Сеня, мы христиане, а не жида.

– А это и не жид.

– А кто же?

Сеня посмотрел на мать сурово и ответил:

– Немец.

Сказанное оказалось еще хуже. Лицо матери, загорелое, вечно моложавое, сероглазое, резко осунулось и постарело.

– Не-е-мец? – переспросила она.

Сеня кивнул и рассказал, что знал об этом немце, хотя толком ничего и не знал, только то, что сообщил Илье его родственник Игнат Задумов: умный немец инженер изобретал планеры и сам летал на них, пока не разбился в сорок с чем-то лет, и был он первым. Мать слушала, печально вытягивая губы и трогая иногда себя за щеку.

– Сеня, – сказала она, выслушав, – немец, он хуже жида. Он же, поганый, потравил твоего батьку. Газом. А жида никого газом не травили. Ни поляки. Ни кто еще. Мысль не доходила. А у того у немца немилосердного – дошла.

Сеня угрюмо внимал. Он это знал. Но снова слушал рассказ матери.

А было так.

Папку взяли на войну с немцем, хотя ему уже и пять десятков стукнуло. Но Жарковская порода крепкая. Царский солдат дед Максим жил сто лет. Дед Дюрга Жар, видно, не меньше проживет. Ему вон сколько, а ходит молодцом.

Сеня не видел никогда своего отца вживую, только на фотокарточке: когда он в последний раз на побывку приезжал, а на селе как раз завелся свой фотограф Левинсон с громоздким аппаратом, и касплянцы ходили к нему фотографироваться. Пошли и Андрей с Софьей. И вот они на этой фотографической прямоугольной карточке: Софья в темном платье и белом ослепительном, как сугроб, платке стоит, положив руку на плечо сидящему на венском стуле бравному солдату в форме и фуражке, с лихо подкрученными усами, с Георгиевским крестом на груди: вид весь у него бодрый, а в темных близко посаженных глазах какой-то тоскливый вопрос... Или это так сейчас кажется?

Андрей, по наущению деда, вот чем занимался: по весне запрягал Чайку, черно-белую кобылку, да отправлялся в Касплю и по всем окрестным деревням скупать скотину, кое-как

перемогшую зиму. А травы доброй еще нет. А та скотинка на ладан дышит. Ему и уступали задешево, лишь бы избавиться. И он пригонял лядящих теляток, коровенок, бычков в Белодедово-Долядудье. Нанимал двух пастухов, а сын его Тимоха да Семенов сын Васька шли к ним в подпаски. И начиналась пастьба. Гоняли то лядящее стадо по дальним лужкам, по лесным закрайкам – всюду, где только можно было ущипнуть хоть клочок травки. Какая скотинка и околевала, но шкуру с нее сдирали да отдавали бабам, Устинья ими руководила, шкуру дубили в растворе, мяли, выделывали и потом шили жилетку или чего еще, рукавицы, даже шапку, треух. Мясо скармливали собакам. А остальные буренки хоть и пугали выпирающими ребрами да слезящимися огромными глазами, но жили, непрерывно щипали травку и мох в лесу. А к середине лета и плотнее становились, убирала ребра-то. И к концу лета то было хорошее стадо, мычащее, блеющее. И как на березе лист золотился, папка с теми двоими пастухами направляли все разномастное стадо в сторону далекого города – Смоленска. Ну как далекого? Даже и сейчас далекого для Сени: за синими горами, за долами и лесами, а к тому же и за рекой Днепром. Почти полста километров будет. И как же Сене теперь хотелось туда поехать в бричке с батькой! Смоленск тот был ровно Египет из ветхой книжки и взятых дедом оттудова молитв. Какой-то Ирод захотел поубивать всех детей, и боженька сказал Ёсифу с Марьей: бягитя в Египет, спасайте сынка моего Исусика... Тут Сене невдомек было, почему же боженька сам не хочет его спасти? Уж неужели тот Ирод сильнее? Зачем же гонять с Ёсифом на осле аж в Египет? Кинул бы колесо тележное на башку Ироду – да и вся недолга. Или просто вызвал бы к себе в хоромы того Ирода, сделал ему внушение, перетянул бы вожжой. Тут и дед Дюрга Жар сгодился бы.

А в те времена этот Смоленск был как будто еще дальше.

И возвращался из неведомого Смоленска папка с полным возом всякого добра: рубах, портков, керосиновых ламп и керосина, хомутов, сапог, скобяного товара, соли. Зимой прямо в избе и устраивали лавку, продавали ситец да лампы окрестным жителям.

И всем хотелось в тот Смоленск пропутешествовать за всеми этими богатствами и впечатлениями.

Но папка никого не брал, даже подпасков Ваську с Тимохой, хотя они же все лето бегали за теми коровками, горланили, штаны в кустах драли, кровянились, от слепней тех, злыдней, отбивались, жарились на солнце, стыли вечерами, когда вдруг с севера задует, и дрыгадали утрами в травах таких росистых, что и никакой дождь не нужен, шаг, два – и уже мокр по самые уши. Это все и Сеня спознал позже, когда и сам подпаском ходил... Правда, тогда уже папка не гонял стадо в неведомый град за полями, за лесами и синей рекой Днепром на бойню.

И под белорусской Сморгонью, где восемьсот дней с гаком шли бои, газами немец папку и потравил. Его довели до станции Рудня. И туда отправилась мама, почему не дед Дюрга Жар, неизвестно. Хотя чего ж неизвестного-то? Эка невидаль проехать по раскисшим осенним дорогам на телеге полсотни верст. Проехала с пустым гробом, забрала запеленатого мужа и вернулась под гогот гусиных стай, улетающих на юг.

Дед Дюрга горевал по сыну, любил он его более, чем младшего Семена, тоже воевавшего где-то с немцем. Все у него ладилось, правда, при таком-то советнике как дед Дюрга... Хоронили его на кладбище, что на взгорье над речкой Касплей. Дед Дюрга попа привез из Каспли, отца Ани, тогда еще просто отца, ну батюшку Романа, Анька ведь позже объявилась на свете этом. Тот читал молитвы, махал кадиллом, а все слушали, понурясь, капая горячим воском со свечек на руки себе, на порты и платья. И все летящие гуси попу вроде как вторили или перечили, не сообразишь. Сеня как будто видел сам бледное лицо того мужика, что лежал в свежем гробу, но точно знал, что это не папка, всегда загорелый, скуластый, с подстриженными усами, блестящими карими глазами, родинкой на носу.

Что такого содеял папка немцу, и тот напустил на него отраву газовую?

И Софье тот немец таким представлялся: с рогами и железным хоботом, пускающим отраву. Поп потом на поминках толковал про зверя, изрыгающего духов нечистых, подобных жабам ядовитым, и говорил о битве у града Армагеддона. Хотя Андрея потравили в Сморгони... И казался тот немец рогатым и с железным хоботом, сидевшим верхом на саранче. У немца та саранча была величиной с лошадь, по слову попа Романа. И зубы у той лошади-саранчи были, как у льва, по бокам – железные крылья, а хвост как у крысы и на конце стрелало. Не враз сообразишь, кто страшнее и опаснее: немец или его лошадь.

Софья на похоронах уже и не плакала, все выплакала, покуда папку спеленатого из Рудни среди полей голых под грай вороний и гогот гусиный везла.

– Вот тебе и немец, – сказала со вздохом мама.

– Лилиенталь другой, и крылья у него полотняные, – упрямо возразил Сеня.

И мама замахнулась на него, сверкнула глазами.

– У-ух! Дурилка!

Сеня уклонился... И после этого разговора взял и пошел к дяде Семену и попросился к нему в семью. Дядя Семен, невысокий плотный, рукастый, с залысинами, светлым лбом, курносый, с русыми усами, и не подивился несколько его просьбе. Закурил самодельную трубочку из березового капа и вскинул ясные глаза, сказал с дымом:

– А хорошо! Только с Фофочкой надо переговорить.

Фофочкой и звали его маму близкие. И Сеня побежал к матери, только пятки сверкали.

– Мам! Тебя дядь Семен зовет!

– Зачем? – спросила она.

– На переговоры!

– Ка-а-кие еще переговоры?

– Мам, ну не знаю...

– Знаешь. Говори. Про то самое?.. Да?

Сеня кивнул. И мама Фофочка, всегда покладистая, ласковая огрела сына крестьянской дланью. Сеня только зубы стиснул и втянул голову в плечи. Ну а мама Фофочка вдруг заплакала, побежали по ее загорелым щекам крупные слезы.

– Как же ты можешь... Сеня... это предательство, – всхлипывая, бормотала она.

Нахотенный Сеня угрюмо слушал.

– То немец этот... – шептала мама.

– Дядь Семен не немец, – буркнул Сеня.

– А поросль того солдата-душегуба, – сказала в сердцах мама.

Сеня вспыхнул, быстро глянул на нее. Значит, и она разбойную версию знает! Он тут же хотел расспросить, но опомнился. Сейчас не про то речь.

– Ма, ну так... на переговоры-то?

Она не отвечала.

И может быть, Фофочка так и не предприняла бы никаких шагов, но тут Сеня вот, что сказал:

– Даже поп Анькин вышел из рясы своей ради ученья.

Она взглянула недоверчиво на сына, смаргивая ресницами слезы.

– Что балакаешь-то? Треплю...

– Я балакаю?! – вскричал Сеня как ужаленный. – А ты не слыхала еще? Все, ушел, расстригой заделался! Аминь, как говорится. Баста.

– Отец Роман?

– Он самый!

– Да как же такое возможно... Он же такой тщательный, усердный, нравный... – бормотала мама, хлопая мокрыми ресницами.

– Вот с усердием об Аньке и решил. Она же докторшей быть мечтает. А какая докторша без хотя бы семилетки? И кто ее дальше в ученье возьмет, дочку попа? Все ей пути перекрыты. Всему прошлому, темному, дремучему пути позакрыты, ага. И это вразумляет людей, а только не деда и тебя! Наше будущее с Варькой тебя не трогает, ма!

Мама всматривалась пытливо в лицо сына.

– Но ты же... не балуешь, Сень? Правду поведал?

– Про расстригу? Вот ей-богу! И он уже ходил к директору, а в школе шкрабов не хватает, и, скорей всего, его сделают нашим учителем!

– Да ну?..

– А чего? Раньше-то попы и учили, все говорят.

– Так то раньше, сынок. В России. А теперь времена другие... советские.

– Россия и есть, но уже советская. А прежнее слезло, как лягушачья шкурка.

– Ой, не болтай...

– Ма, так что? Сходи к Семену-то на переговоры, а?

– Ай, подожди уж...

Вытерев слезы и успокоившись, она встала и ушла на двор, где возился с упряжью дед Дюрга. «У, кулачина, – помышлял Сеня. – И зовут-то как коряво: Дюрга Жар. Дюрга и есть. Все люди как люди, в колхоз перешли. Скоро и Семен с семейством в Касплю переедет. А мы тут будем, как волки. Сбегу к Семену. А то и вовсе куда-нибудь в Москву, к летному училищу поближе». В Смоленске, он уже выведал, такого учебного заведения нет. А в Москве живет этот родственник Ильи, студент, что учится на инженера, Игнат Задумов, раз он им с той птичьей книгой помогал, то, глядишь, и будущему летчику пособит как-нибудь.

Вернулась мать, лицо ее было заметно бледным, грудь вздымалась, губы были плотно сжаты, глаза узки. Сеня следил за ней. Она темно глянула на него и сказала:

– А теперь собирайте с Варькой узлы, покудова я буду ходить в правление.

Сеня хлопал глазами.

– К-какие узлы, ма?

– С барахлом всяким! – почти крикнула мать. – На улице в Каспле поселимся!..

8

И она действительно собралась и ушла в село, в правление, где и написала заявление о вступлении в колхоз. Дед Дюрга ей поставил ультиматум: колхоз или его дом. И всегда подчиненная его воле невестка вдруг забунтовала. Дед Дюрга был потрясен, но непреклонен. Когда Фофочка вернулась из Каспли и сказала громко, чтоб все слышали в вечернем уже притихшем дому, озаренном светом керосиновых ламп: «Варька и Сенька! Будете учиться», дед Дюрга тут же ответил громово: «Но не в моей хате!» Баба Устинья запричитала, но Дюрга на нее так рявкнул, что она тут же затихла.

– Но и мы тут чего-то нажили, – ответила Фофочка дрожащим голосом. – Потому сразу не выселимся.

– Да я вас прямо сейчас выставлю! – заревел Дюрга Жар.

– А мы не уйдем! – ответила прерывающимся голосом Фофочка.

Дюрга расхохотался так, что зазвенели стаканы в буфете.

– Не уйдете?! – крикнул он. – Так колхозники вы или приживалы и нищоброды?

– Ах так! – воскликнула Фофочка и крикнула детям: – Собирайтесь!

Баба Устинья снова запричитала и не унималась, хотя Дюрга и бранился. А Фофочка, жарко блестя глазами в сумраке, металась по хате и действительно собирала вещи, одежду, посуду, увязывала в узлы.

– Ха-ха! Передовые телята! – смеялся дед Дюрга, глядя на внука и внучку.

И Сене хотелось его убить.

– Давайте, давайте, вперед, в передовики! В коммунизм, его мать! – бушевал дед. – За это вашего батьку потравил фриц. За это с турками али с французами бился ваш дедушка Максим! За комму, мать ее!.. За обчее все! За бабу обчую, за жратву обчую. За Россию богадельню! Была при церкви-то богадельня, при Казанской. Вот, вот. Упразднили. Потому как теперь вся Расея – богадельня! Чтоб все одним одеялом укрывались. Все, да не все. Этим, в кожанках да в пенцне, все отдельное и по высшему разряду. А вам, мазурики вы клятые, дрань крестьянская, срань холопья, – вам горбушку на постном масле и обчее одеяло. И обчий голод. Будем одну собачью кость глотать, как то было уже в Поволжье. А грузин тот в Кремле перепелов жрал да рыгал. А с ним и татарин Щур, он же неспроста все шуруется. Щур и есть. Экая пара нам на шею! Ладно, хоть один уже скопытился, Щур. А этот Крыс покудова и не собирается. И с обреза никто его не попотчует, заразу. Мужика зорит. Бедноту перевозносит – но токмо не повыше себя. Крыс да Щур! Новая сказка. Ее вам баба Марта Берёста не сказывала? Не сказывала? Крыс да Щур на Кремле баре, да еще был тот Лев, а по виду галка, и другой был поджарый с узкой мордой – чисто борзая. Мировой социализм в образинах! Крыс да Щур, галка да борзая. А у нас – Ладыга да Дёмка Порезанный. Как они кинулись рыскать-раскулачивать крепких мужиков?! Аверкия Лукьяновича как они потрошили? Из печки чугунок с кашей выхватили, кашей образа в красном углу забросали, чугунок забрали. Белье мороженое с чердака стянули. Ложки-вилки похватили, чашки. Ну чего еще взять у *богатея*? Очки на носу усмотрели! Цап! А Даниила Иродионова как шерстили? С бабы платок тащили! С ребятишек валенки сымали, это в стужу-то. А у Трофима Федорова ничего и не сыскали, кроме семи яиц. И чего? Тут же побили в сковородку, пожарили и пожрали, революционеры голожопые! А Антония Ипатова чередили? Нажрались самогону и к его красавице Аглае полезли подол задирать. Антоний за кочергу. Шарахнул одного прямо по яйцам, всю охоту отшиб. Так они же ему той кочергой в квашеную капусту башку разбили. А слух пустили, что сопротивление комбеду оказал. А все ж знают, как было-то. Тати, тати и есть! И власть ихняя – татьба одна кровавая. Таким манером и ведут дело: чуть что – пырь ножиком, трах по зубам. Царь-то в сравнении анделом был. Всем учиться дозволял, хоть в земской школе, хоть в приходской. А

Крыс, вишь, что сочинил. И крысята в той школе и получаютя. И вы, вы, Сенька с Варькой, вы крысята и будете. Не ходите за маткой! Она сдурела. В самое пекло коллективное вас утягивает. Был бы живой ея мужик, мой Андрюха-то! Уж он бы па-а-стегал, па-а-стегал плеточкой.

– Врете вы, отец! Врете, Георгий Никифорович! – не выдержала Фофочка, пылая лицом. – Он не посмел никогда пальцем тронуть. Обходчивый был, Андрюша-то. Ни меня, ни детей. А немца бил. За то и Георгия дали. Он за позор почел бы так-то с бабой и детишками поступать. А вам и не совестно, Георгий Никифорович.

– Это ты меня-то позорить вздумала, колхозная ферма?

– Какая еще ферма?

– А такая! Обчая! Будут тебя все скотники доить, мять сиськи! Этого тебе недостает?

Так и скажи, бесстыжая. Нечего детьми прикрываться-то.

– Георгий Никифорович... да как жа... как вы можете?..

– Ой-ё, Дюрга, типун тебе на язык, – встряла Устинья. – Совсем ума лишился старый.

– А ну мне цыц! И – марш! Вон! Чтоб духу тут не было!

– И мене гонишь? – задохнулась маленькая Устинья. – И уйду... уйду...

И правда, бабушка тоже стала собирать манатки.

И они вышли с узлами, мама Фофочка, маленькая баба Устинья, Сеня и Варя и пошли под мелким осенним холодным дождиком. Куда? В великую тьму, пахнущую дымом, навозом, перекликающуюся собачьими голосами. Мир в тот миг показался невероятно огромным. И Сене захотелось мчаться сквозь эту зябкую тьму на полотняных крыльях Отто Лилиенталя – до окраин, до того места, где начинается свет, где стоит залитый солнцем град Вержавск с фантастическими теремами из невиданных материалов, белоснежных и голубых, со школами для всех, с киноустановкой, показывающей уморительного Чарли Чаплина, с парящими воздушными разноцветными шарами, с мостами над озерами Поганое и Ржавец, раздвижными, чтобы могли пройти корабли, попадающие по каналу в речку Гобзу, оттуда в речку Касплю и дальше в Западную Двину, а оттуда – в Балтийское море или вверх по Двине и в другой канал, соединяющий Двину с Волгой, и по Волге – в море Каспийское. А если вверх по Каспле, то до канала, выходящего в Днепр под Смоленском. Ну а там и до Киева, до Черного моря. Это для любителя водных дорог Ильи и таких же, как он. А для Арсения Жарковского и прочих прирожденных воздухоплателей – воздушные шары, и планеры, и самолеты. Им-то нипочем берега. Для них нет берегов. Лети в любую сторону. Хоть в Африку. Или в Индию. Или на Северный полюс.

Сене такой далекий путь и примерещился. Но далеко они не пошли, свернули к дяде Семену.

– Вот, сынок, принимай переселенцев, – сказала баба Устинья.

И Семен со своей Дарьей их приютили, думали кормить, но все уже поужинали и хотели только спать. Легли на полу на сенных матрасах. Варя пристроилась к девочкам Семена.

– Эх, батя, – вздыхал Семен, посасывая свою трубочку у печки.

Так и жили. Фофочкино заявление в правлении уже рассмотрели и решили ее вопрос положительно, взяли ее дояркой в отделение Язвище, это поблизости от Белодедова, на Жереспее. Но с жильем помочь пока не могли. Семейство Семена потеснилось, баба его ничего, терпеливая была, да как и почти все бабы этой земли. Сегодня ты потеснилась, поджалась, хлебушком поделилась, а завтра и тебе место потребуется, и очаг, и хлебушек, тебе да твоей детворе. А вот как раз детям такое положение и любо было, вместе все веселее – и работу по хозяйству осиливать, и уроки учить, балуясь, конечно, то и дело прыская, подшучивая друг над другом, и есть, стукоча ложками по деревянным мискам, и в Касплю в ту ШКМ ходить. И возвращались всегда вместе. С ними и другие белодедовцы ходили, а еще и из Язвища, целая ватага набиралась. А если кто-то из Жарковских задерживался в Каспле, в школе, то остальные Жарки ждали своего.

Так случилось и в морозно серый свинцовый день в конце ноября. Ждали Сережку, самого младшего, у больницы. Ему фельдшер Станислав Маркелыч, со щеткой усов под большим носом и военной выправкой, несмотря на преклонный возраст, чирей на шее вскрывал и обрабатывал, потом бинтовал шею. И наконец бледный измученный Сережка явился, и все Жарки пошли по селу, а потом по дороге в свое Белодедово. Ходить вместе они начали после одного случая на этой дороге. На девочку из Язвища прошлой зимой накинута волк. Волк был одиночка, старый, отбившийся от стаи. И только это девочку и спасло. Она-то была крепкая, двенадцати лет крестьянская дочка, и стала бить волка сумой своей с книгами по морде, и волк отступал. В себя приходил и снова догонял и набрасывался, норовя полоснуть старыми зубами по шее, да девочка уклонялась и снова била его сумой. Все-таки он поранил ей все руки. Кровь потом долго на снегу отцветала. Да совсем ее зарезать волк так и не смог. Наконец-то на дороге появились люди, мужики, перевозившие сено в Касплю на продажу. Волк нехотя потрусил прочь, озираясь. Его потом видели и в окрестностях Каспли, он все налаживался к собачкам, заманивал, пока председатель колхоза собственноручно не пристрелил его. А шкуру подарил той девочке, Веронике из Язвища. Мамка отдала выделанную шкуру язвищенскому умельцу Жегалову, и тот сшил девочке волчьи сапоги. Правда, ходила она в них только по двору. А в деревне и в Каспле за ней сразу увязывались брешущие собаки, бежали, норовя цапнуть за ноги. Чуюли дух волчий.

С тех пор все дети держались вместе.

И вот Жарки шагали по снежной дороге, переговаривались, посмеивались, толкались. И услышали скрип полозьев. Оглянулись и сразу узнали рослого холеного Антона в яблоках. А в санях с сеном в рыжем полушубке и белой заячьей шапке восседал сам дед Дюрга Жар.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.